

ЮМОР, ЛЮБОВЬ
И БОРЩ С ХАРАКТЕРОМ!

У ТЁЩИ
ВСЕГДА
СВОИ
РЕЦЕПТЫ

ПРАВИЛА
ТЁЩИ:

1. НАКОРМИТЬ
2. НАУЧИТЬ
3. ЖЕНИТЬ
(ПО ЛЮБВИ!)

Любовь
через желудок.
Даже у тёмных!

ТЁЩА
РУЛИТ!

Тёща тёмного Властелина

Ева Норская

Ева Норская

Тёща Тёмного Властелина

«Автор»

2026

Норская Е.

Тёща Тёмного Властелина / Е. Норская — «Автор», 2026

Смерть застала её за рабочим столом - над недописанным отчётом. А очнувшись сорокапятилетняя начальница отдела кадров уже в другом мире в теле вдовствующей графини Альвины ди Морвен. Почти сразу она узнаёт: через семь дней её девятнадцатилетнюю дочь Лиану увезут в Пепельный Предел, где та должна стать невестой Тёмного Владыки. Ни одна из прежних невест не вернулась живой. У Альвины нет магии, пророческого дара или меча. Зато есть двадцать лет переговоров, привычка читать документы до последней строки и уверенность: любой нерасторжимый договор когда-то кто-то составил, а значит, в нём может быть лазейка. Теперь ей предстоит выяснить, кто опаснее: мрачный владыка Предела или система, веками требующая чужой жизни ради порядка.

© Норская Е., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Пролог	5
Глава 1. Смерть в кабинете	9
Глава 2. Чужое зеркало	13
Глава 3. Дочь	17
Глава 4. Что говорят соседи	21
Глава 5. Первая ошибка	25
Глава 6. Он приезжает сам	29
Глава 7. Пункт девять	33
Глава 8. Дорога	37
Глава 9. Пепельный Предел	41
Конец ознакомительного фрагмента.	44

Тёща Тёмного Властелина

Пролог

Акт о выбытии составляется в двух списках: один хранится в Ордене, второй — в замке. Оба пишутся под копирку, единой рукой, потому что рука в Пределе всего одна — Марта много лет ведёт эти записи, и почерк её ничуть не меняется от того, что каждая запись означает.

«Ди Ксарен, Одрия. Прибыла в Предел на девятнадцатом году жизни. Числилась невестой Владыки три года и два месяца. Выбыла в шестой день зимнего месяца по причине истощения контура. Тело предано пеплу согласно обряду. Личных вещей не оставлено».

Личных вещей не оставлено — это Марта тоже писала не в первый раз, и не в десятый. У невест Предела вообще редко бывают личные вещи к концу срока: то, что привозят из дома в первый месяц, к третьему году либо изнашивается, либо раздаётся слугам, либо просто перестаёт иметь значение для человека, который знает счёт своим оставшимся дням с точностью, недоступной большинству живущих. Одрия ди Ксарен не была исключением. Она привезла с собой шкатулку с письмами от младшей сестры и перчатки для верховой езды. Перчатки Марта отдала конюху. Письма сожгла сама, потому что раздавать чужую переписку было делом, которое Марта считала непристойным, даже если переписка эта уже никому не могла причинить вреда.

Она поставила точку, посыпала лист песком, подождала и стряхнула лишнее в жестяную банку — сэкономила даже песок, потому что экономить давно вошло в привычку сильнее, чем что бы то ни было ещё в этом доме. Потом закрыла чернильницу, убрала перо в футляр и пошла будить Владыку, хотя знала, что он не спал.

Он не спал вторую ночь.

Кассиан Дар-Наэр сидел в кресле у окна кабинета так, что со стороны можно было подумать, будто он смотрит на Предел. На самом деле он смотрел сквозь него — туда, где триста лет назад провалилась Изнанка и осталась дыра, которую весь мир вежливо называет Гранью, а сам он про себя называет иначе, но вслух не говорит. Говорить вслух про Грань — плохая примета даже для того, кто её держит.

— Акт готов, — сказала Марта, остановившись на пороге. Она никогда не входила в кабинет без стука, даже когда он был пуст: привычка, оставшаяся от прежнего управляющего, который учил её этому дому сорок лет назад и давно сам лежал на том же кладбище, только с другой стороны ограды.

— Прочти, — попросил он, не оборачиваясь.

Она прочла. Он слушал, сложив руки так, как складывают их люди, привыкшие к тому, что руки больше ничего не могут исправить, хотя когда-то, много десятилетий назад, эти же руки держали меч и умели решать вопросы проще.

— Три года и два месяца, — повторил он, когда она закончила. — Это дольше, чем в прошлый раз.

— Дольше, — согласилась Марта. — Она была упрямая. Упрямые держатся дольше — контур цепляется за то, что не хочет отпускать. Помните вторую? Ту, что из горной провинции. Тоже упрямая была, тоже долго держалась.

— Помню, — сказал он коротко, и по этому короткому «помню» Марта поняла, что дальше расспрашивать не стоит. Она знала: он помнит по именам только двух — первую, потому что первую нельзя забыть, как нельзя забыть первую собственную ошибку, и ещё одну, четвёртую по счёту с начала его службы, потому что та успела перед смертью сказать ему что-то, чего он никому не пересказывал. Остальных пятерых, включая Одрию, он заставлял себя

забывать методично, как забывают номер счёта, который больше не нужен: помнить всех подряд было решением, которое разрушило бы его быстрее, чем сама Печать.

— Запиши это тоже, — сказал он вдруг.

— Куда это записывать? В акт о выбытии не пишут характер покойной.

— Тогда в другое место. — Он поднялся, и кресло, которое держало его вес семь лет подряд, каждую бессонную ночь, скрипнуло с облегчением, как скрипит стул под освободившимся от долгого сидения человеком. — Куда-нибудь, где это не потеряется. Заведи отдельную тетрадь, если понадобится. Я не хочу, чтобы через триста лет от неё осталась одна строчка в казённом акте.

Марта не спросила зачем. Служила сорок лет — и научилась не спрашивать зачем в тех местах, где ответ причинит им обоим одинаковую боль. Вместо этого она сказала то единственное, что за сорок лет ни разу не потеряло смысла:

— Что дальше, ваша светлость?

Дальше был порядок, который не менялся так же, как не менялся её почерк. Гонец в столицу — с печатью, чёрным сургучом, без герба, потому что герб Дар-Наэров в столице узнают быстрее, чем прочтут само письмо. В письме — три строки: контур истощён, срок вышел, династия ожидает исполнения десятины согласно договору трёхсотлетней давности. Ответ приходил всегда в течение недели. Всегда — имя. Всегда — юная. Всегда — согласно списку невест, которые ещё не вышли замуж и чей род достаточно знатен, чтобы отдать дочь, и достаточно беден, чтобы это было выгодно всем сторонам, кроме самой дочери.

Гонец выехал на рассвете. Дорога от Предела до столицы занимала четыре дня в одну сторону при хорошей погоде, и Кассиан знал этот отрезок пути так же хорошо, как знал собственные руки: каждый год, в один и тот же месяц, он отправлял по нему одну и ту же новость и ждал в ответ одну и ту же реакцию — сухое согласие, оформленное по всем правилам, без единого лишнего слова сочувствия. Орден Светлого Слова не любил тратить слова на то, что не требовало заверения печатью.

В столице письмо попало в руки клерка, который вскрыл его, прочитал, сверился с реестром незамужних дочерей знатных, но обедневших родов, и вывел на полях два имени — на случай, если первое семейство откажет. Это тоже было частью порядка: запасной вариант всегда готовили заранее, потому что триста лет практики научили Орден одному простому правилу — отказников бывает мало, но они бывают.

Ответ пришёл на пятый день, что было даже быстрее обычного, и Марта отнесла письмо в кабинет с тем особым лицом, которое у неё бывало, когда новости было велено доставить, а хотелось бы их потерять по дороге.

Кассиан сломал печать сам: доверял он ей полностью, но за семь лет привык избавлять её хотя бы от этого одного действия.

— Ди Морвен, — прочитал он. — Лиана ди Морвен, девятнадцать лет. Провинция на юге, род обедневший, отец умер шесть лет назад, мать — вдовствующая графиня Альвина ди Морвен. — Он поднял глаза. — Мы уже отправляли туда сватов раньше?

— Дважды. Первый раз отказали — граф был жив и упрям, ответил лично, в резких выражениях, которые Орден потом долго припоминал роду. Второй раз, уже после его смерти, согласились быстро. Слишком быстро для рода, у которого по бумагам ещё оставался выбор.

— У них нет выбора, — сказал Кассиан без злости, просто констатируя факт, как констатируют цену на зерно в неурожайный год. — Ни у кого из них никогда не было настоящего выбора, только видимость его в договоре. Это единственное, что делает наш порядок хотя бы отчасти честным: мы никого не обманываем насчёт того, что это такое.

— Обряд состоится через сорок дней после прибытия невесты, как всегда, — сказала Марта, доставая чистый лист для следующего письма. — Дорога от их провинции — три дня. Сообщить, что ждём через семь?

— Через семь, — подтвердил он. — Раньше нельзя, позже — тоже. Порядок есть порядок, а порядок в этом доме — последнее, что у меня осталось от иллюзии, будто я чем-то управляю, а не просто исполняю то, что придумали до моего рождения.

Она вышла писать письмо, а он остался стоять посреди кабинета — не у окна, а именно посреди, потому что ноги сами отказались нести его к тому виду, который он знал наизусть до последнего камня ограды.

Первую звали Ренэ. Это имя он позволял себе помнить целиком, вместе с фамилией и даже с той шуткой про кислое вино, которую она рассказала ему в первый вечер и над которой он не засмеялся, потому что тогда ещё не умел смеяться над тем, что касалось Печати. Ренэ он не выбирал — она досталась ему вместе с титулом, вместе с домом, вместе со всем прочим наследством, о котором его никто не спрашивал заранее. Он тогда был моложе, чем выглядит теперь любой из его слуг, и всерьёз полагал, что если постараться, если быть достаточно внимательным, достаточно осторожным, можно найти способ обмануть контур и сохранить её дольше положенного срока. Три года и одиннадцать месяцев — так долго, как ни одна после неё. Он гордился этим тогда. Он до сих пор не решил, стоит ли гордиться этим сейчас, потому что три года и одиннадцать месяцев означали три года и одиннадцать месяцев наблюдать, как она гаснет медленнее, чем полагается природой, и от этого не легче ни ей, ни ему.

Четвёртую звали иначе, но это имя он не произносил даже про себя — только помнил, что перед смертью она сказала ему нечто такое, после чего он перестал спрашивать судьбу, за что именно ему всё это досталось. С тех пор он не позволял себе привязываться настолько, чтобы имя оставалось в памяти дольше похорон. Одрия была пятой, кого он заставил себя забыть заранее, ещё при жизни, — не из жестокости, а из чего-то, что сам он называл дисциплиной, а любой сторонний наблюдатель назвал бы медленным самоубийством по частям, растянутым на столетия.

Он подошёл к окну только тогда, когда услышал, как скрипнула дверь кабинета — Марта вернулась за печатью для второго письма, того, что нужно было отправить в саму провинцию ди Морвен, с официальным уведомлением о сроке. И вот тогда он всё-таки посмотрел туда, где под утренним пеплом медленно оседал свежий холм на кладбище невест — седьмой по счёту с тех пор, как он занял этот пост, если считать двух, чьи имена он ещё помнит, и пятерых, которых заставил себя забыть. Семь холмов в ряд, один свежее другого, и за оградой — место для восьмого, уже размеченное, потому что земля в Пределе промерзает быстро и копать зимой трудно, а Марта привыкла готовить заранее всё, что можно подготовить заранее.

Он не знал ни имени Лианы ди Морвен, ни того, что у неё будет мать, которая приедет вместе с ней и потребует показать договор целиком — от первой строки до последней, включая ту, которую в замке не читали вслух уже сто с лишним лет, потому что все давно решили, что она не имеет значения, а значение, как выяснится позже, имела едва ли не больше всех остальных вместе взятых.

Он узнает об этом через семь дней.

Письмо с печатью Ордена дошло до усадьбы ди Морвен на третий день. Управляющий, седой мужчина по имени Гурт, служивший роду ещё при покойном графе, принял его у гонца на пороге, продержал в руках дольше, чем требовалось для того, чтобы просто внести в дом, и только потом понёс его наверх — туда, где молодая графиня Лиана в это утро перебирала швейный короб покойной матери, отбирая нитки для приданого, которое, как она давно решила, ей не понадобится в том виде, в каком его готовят для обычных невест.

Гурт постучал, вошёл, положил письмо на стол между Лианой и графиней Альвиной, которая в это утро, как и во все прочие утра последних лет, сидела у окна с видом человека, для которого решения давно принимает кто-то другой, а её дело — подписать там, где укажут.

— Из столицы, — сказал он. — С печатью Ордена. Судя по сургучу — из канцелярии Предела.

Лиана взяла письмо первой, хотя формально это было не её право. Сломала печать, прочитала, и лицо её — молодое, ещё не научившееся прятать то, что происходит внутри, — сделалось таким спокойным, что Гурт мгновенно понял: спокойствие это стоило девушке немалых усилий.

— Через семь дней, — сказала она вслух, ни к кому не обращаясь. — За мной приедут через семь дней.

Графиня Альвина подняла взгляд от окна, посмотрела на дочь без особого выражения и произнесла единственное, что за последние два года всегда произносила по любому поводу:

— Значит, через семь. Гурт, распорядись насчёт кареты.

Она не спросила, куда именно повезут её единственную дочь и что в точности означает эта поездка для всех, кто останется потом заполнять графу «выбыла» в очередном акте. Ей это не приходило в голову — ни в тот день, ни в один из следующих шести. Гурт вышел распорядиться насчёт кареты. Лиана осталась сидеть над швейным коробом, глядя на письмо так, будто надеялась, что от долгого взгляда буквы на нём переменятся.

Позже, много позже, Лиана будет вспоминать это утро и удивляться одному: что мать, узнав такую новость, не сказала ничего, кроме слов про карету. И ещё сильнее она будет удивляться перемене, которая случится ровно через семь дней, — но об этом ни она, ни Гурт, ни сама графиня Альвина в то утро знать не могли.

Не могла знать этого и женщина сорока пяти лет, сидевшая в этот самый час за тысячу вёрст отсюда, в другом мире, который ещё не подозревал о существовании первого и никогда о нём не узнает, — в кабинете начальника отдела кадров машиностроительного завода, дочитывая последний за день отчёт по текучести персонала и растирая правую кисть, которая последние два года болела к вечеру сильнее, чем по утрам. У неё за спиной, на подоконнике, стояли три горшка с алоэ, которые она регулярно забывала поливать, а на столе — фотография дочери в рамке, повёрнутая так, чтобы её было видно с любого места кабинета, но не видно посетителям, которых она принимала по эту сторону стола.

Она тоже не знала, что до конца её смены остаётся значительно меньше времени, чем она рассчитывала, и что отчёт по текучести персонала так и останется недочитанным до последней страницы.

Некоторые договоры заключаются не на бумаге. Но исполняются они с той же неотвратимостью, с какой в Пределе исполняется любой акт, скреплённый печатью, — просто одна из сторон об этом договоре узнаёт последней.

Об этом, впрочем, по порядку.

Глава 1. Смерть в кабинете

Отчёт по текучести персонала за третий квартал лежал передо мной уже сорок минут, и всё это время я смотрела на одну и ту же цифру в правом нижнем углу: восемнадцать процентов. Восемнадцать процентов — это когда из ста человек к концу года уходит почти каждый пятый, и генеральный директор на летучке в понедельник спросит меня, что я собираюсь с этим делать, таким тоном, будто текучесть — это сыпь, которую я развела у себя в кабинете от небрежности.

Я работаю начальником отдела кадров машиностроительного завода двадцать лет. Умею отвечать на такие вопросы так, чтобы генеральный директор ушёл с летучки довольным, а я — с очередным пунктом в списке того, что нужно исправить до следующего понедельника. Это не магия. Это протокол, три пункта, и я знаю его наизусть: назвать проблему цифрой, назвать причину без обвинений, назвать решение с датой исполнения.

Причина в этот раз была банальной: зарплата в соседнем городе на пятнадцать процентов выше, а автобус до завода ходит раз в сорок минут и опаздывает. Решение — тоже банальное, но такое, которое требует полтора года и бюджет, которого мне никто не даст раньше следующего года. Обычная пятница. Обычный отчёт, который никто не прочтёт дальше первой страницы.

До отчёта был ещё один разговор, из тех, ради которых меня, собственно, и держат на этой должности двадцать лет. В два часа дня ко мне пришёл начальник литейного цеха — крупный мужчина, привыкший решать вопросы голосом и весом, — и с порога заявил, что увольняет мастера смены, потому что тот «постоянно спорит и подрывает авторитет». Через десять минут разговора выяснилось, что мастер вовсе не спорит: три недели назад он единственный раз отказался подписывать акт о списании бракованной партии, потому что брак случился по вине изношенного оборудования, о замене которого он писал докладную ещё в прошлом квартале. Начальник цеха просто не любит, когда его решения ставят под сомнение при свидетелях, а мастер оказался единственным на участке, кто умеет читать техническую документацию быстрее, чем её успевают подделать задним числом.

Я не стала говорить начальнику цеха, что он неправ. С людьми, которые привыкли решать вопросы голосом, спорить бесполезно — они слышат в споре не аргумент, а вызов. Я просто спросила, во сколько обойдётся цеху простой линии, если увольнять придётся ещё и того, кто фактически один разбирается в новом оборудовании, а замену придётся искать и обучать два месяца. Цифра, которую я назвала, оказалась достаточно неприятной, чтобы начальник цеха вдруг вспомнил, что мастер, в сущности, неплохой специалист, просто с характером. Мы договорились, что докладную о ремонте оборудования подпишут оба, задним числом это будет выглядеть как совместная инициатива, и все останутся довольны — включая, что немало важно, саму линию, которая ещё послужит заводу, если её вовремя починят.

Я вышла из этого разговора через сорок минут, довольная собой ровно настолько, насколько может быть довольна собой женщина, только что предотвратившая увольнение хорошего специалиста и не поссорившаяся при этом с начальником цеха, у которого и так плохой характер. Именно тогда, возвращаясь к себе с этим маленьким чувством выполненного долга, я впервые за день посмотрела на часы и поняла, что о собственном обеде за весь день так и не вспомнила.

Руки болели весь день. К вечеру суставы на пальцах правой кисти обычно вспухают, и кольцо, которое я так и не сняла после развода — просто удобно, просто привыкла, — начинает давить у основания пальца так, что хочется его срезать. Я растёрла кисть, машинально, не отрываясь от экрана, и подумала, что нужно наконец дойти до ревматолога, а не глотать привычные таблетки из ящика стола, которые помогают всё хуже с каждым годом.

Мысль эта посещала меня примерно раз в месяц, ровно с той же регулярностью, с какой я её игнорировала.

Мой кабинет находится на третьем этаже заводоуправления, между бухгалтерией и приёмной генерального, и из окна виден весь цех литейного участка — россыпь оранжевых искр в темноте, если смотреть под вечер. Я задерживаюсь здесь дольше остальных не потому, что кто-то требует, а потому что дома, если честно сказать, меня никто особенно не ждёт: квартира, три горшка с алоэ на подоконнике, которые я вечно забываю поливать, и тишина, к которой я так и не привыкла за семь лет одиночества после развода. На заводе тишины не бывает даже по пятницам после шести — где-то вдалеке всегда гудит вентиляция, и этот гул мне почему-то нравится больше, чем собственная квартира.

Телефон зазвонил в без десяти семь, когда в отделе давно никого не осталось — только я и охранник внизу, который в пятницу вечером всегда особенно долго засиживается у себя за чаем. На экране высветилось «Катя».

— Мам, привет, — сказала дочь тем голосом, каким она говорит со мной последние три года: вежливым, ровным, без единой зацепки, за которую можно было бы ухватиться и потянуть разговор в сторону чего-то настоящего. — Ты как?

— Работаю. Отчёт сдаю. А ты?

— Нормально. Слушай, я хотела спросить — вы с папой правда не общаетесь вообще? Совсем-совсем?

Я отложила мышку. За окном темнело — в октябре темнеет рано, а лампы над цехами загорались раньше, чем в кабинетах, и от этого казалось, что завод живёт какой-то отдельной, более честной жизнью, не дожидаясь конца рабочего дня.

— Совсем-совсем, — ответила я. — А что случилось?

— Он на Новый год зовёт меня в Питер. С новой семьёй. И спрашивает, приедешь ли ты тоже, если он позовёт.

Вот тут я должна была бы, наверное, спросить, как она к этому относится, хочет ли она вообще ехать, не тяжело ли ей быть точкой пересечения между двумя людьми, которые восемь лет как не пересекаются добровольно. Хорошая мать спросила бы именно это. Я вместо этого посмотрела на часы в углу экрана — без семи семь — и сказала:

— Катя, я сейчас правда не могу говорить долго, у меня отчёт горит. Он же не горит. Извини. Давай я тебе завтра перезвоню, нормально поговорим, а не на бегу.

На том конце помолчали. Не обиженно — я бы услышала обиду, я двадцать лет слышу интонации сквозь телефон, это моя профессия. Помолчали устало, тем особым молчанием, которое появляется у человека, когда он в сотый раз убеждается в том, что и так давно знал.

— Ладно, — сказала Катя. — Завтра так завтра.

— Я правда перезвоню.

— Мам, ты всегда говоришь «я правда перезвоню».

Она не сказала этого со злостью. Она сказала это устало, констатируя факт, как я сама констатирую факты в своих отчётах: цифра, причина, решение. Только в её случае решения не было — ни у меня, ни у неё, потому что решение требовало времени, а времени у меня всегда почему-то находилось на всех, кроме неё.

— Перезвоню, — повторила я и отключилась первой, потому что боялась, что если она скажет что-нибудь ещё, я сорву дедлайн по отчёту.

Это был последний разговор с дочерью в моей жизни, и я потратила его на то, чтобы его оборвать.

Если бы кто-то спросил меня — а никто никогда не спрашивал, — я бы объяснила это просто: у меня есть ровно один режим работы с людьми, и он одинаково применяется что к соискателю на собеседовании, что к родной дочери по телефону. Сначала выслушать факты. Потом определить, что можно решить прямо сейчас, а что подождёт. Потом — вежливо

закрыть разговор, если он не укладывается в отведённое время. С сотрудниками это называется профессионализмом, и меня за него хвалят на аттестациях. С Катей это называется как-то иначе, но название я предпочитала не искать.

Мы не разговаривали толком три года — с того лета, когда она уехала учиться в другой город и, кажется, вздохнула с облегчением, что теперь может любить меня на безопасном расстоянии, не рискуя каждый вечер узнавать, что мама снова задерживается на работе. С мужем — вернее, с тем, кто был мужем до тридцати восьми лет моей жизни, — мы развелись тихо, без скандалов, потому что разводиться скандально означало бы выделить на это время, а времени вечно не хватало на то, что не горело дедлайном. Он ушёл не к другой женщине — во всяком случае, не сразу, — он ушёл от ощущения, что дома его встречает не жена, а филиал отдела кадров, который в свободное от завода время управляет ещё и его расписанием. Я не спорила тогда с этой формулировкой. Мне нечем было её опровергнуть.

Я умела быть полезной — всем, всегда, вовремя. Умела гасить чужие пожары раньше, чем их заметят остальные. Не умела только одного: остаться в комнате достаточно долго, чтобы кто-то мог полюбить меня просто так, без повода, без отчёта о проделанной работе. Мысль эта приходила ко мне тоже примерно раз в месяц, вместе с мыслью про ревматолога, и я так же исправно откладывала её на потом.

Я не знала этого тогда. Тогда я знала только то, что отчёт нужно сдать до девяти утра понедельника, потому что генеральный директор читает почту по выходным и злится, если находит там пустоту вместо цифр. Я открыла файл заново, поправила формулировку в третьем абзаце — убрала слово «критично», заменила на «требуется внимания», потому что «критично» пугает руководство и заставляет требовать немедленных решений, которых у меня нет, — и потянулась за чашкой кофе, давно остывшего.

В груди кольнуло где-то между рёбрами — коротко, несильно, точно кто-то легонько ткнул пальцем изнутри. Я списала это на осанку. Двадцать лет за столом формируют определённые привычки тела, и одна из них — принимать любую боль в груди за расплату за сидячую работу, пока не докажет обратное.

Оно доказало обратное через полторы минуты.

Второй раз кольнуло сильнее, растеклось вдоль левой руки до самого локтя, и я поняла — сразу, тем участком мозга, который отвечает не за логику, а за выживание, — что дело не в осанке. Я потянулась к телефону, но пальцы уже плохо слушались, и тот, что должен был набрать «102», всё время соскальзывал мимо нужных кнопок.

Я знаю, как проводить сокращения так, чтобы человек ушёл с достоинством. Знаю, как построить разговор об увольнении так, чтобы у обеих сторон осталось ощущение, что решение было общим. Двадцать лет я умела улаживать любую ситуацию, если у меня было хотя бы пять минут на подготовку.

Мне не дали пяти минут.

Боль сжала грудь целиком, будто кто-то одним движением затянул трос вокруг рёбер, и мир вокруг стал сужаться, как сужается поле зрения, когда смотришь в узкий коридор. Я успела подумать: как глупо, отчёт же не сдан. Успела подумать: Катя перезвонит завтра, а меня не будет дома. Успела подумать что-то ещё, совсем короткое, про горшки с алоэ на подоконнике, которые надо было полить ещё в среду.

Последним, что я увидела, была фотография дочери на столе — та, где ей двенадцать, где она ещё улыбается мне открыто, без вежливой дистанции, которую мы обе выстроили между собой за следующие годы. Я хотела дотянуться до рамки. Не дотянулась.

Я не почувствовала, как соскользнула со стула. Не почувствовала пола. Боль исчезла резко, одним движением, будто кто-то щёлкнул выключателем, и на секунду — на одну странную, ясную секунду — мне стало легче, чем было все последние два года: пальцы не болели,

спина не тянула, в висках не стучало от усталости, которую я перестала замечать так давно, что забыла, каково это — её не чувствовать.

Потом не стало и этой секунды.

Не было туннеля со светом, о котором пишут в книгах. Не было чужих голосов, зовущих по имени, не было ощущения полёта или падения. Было просто ничто — плотное, беззвучное, без верха и низа, без времени, которое можно было бы измерить привычными единицами. Я не могу сказать, сколько это длилось. Может быть, мгновение. Может быть — то, что у людей моего прежнего мира заняло бы больше, чем вся оставшаяся жизнь.

Отчёт по текучести персонала так и остался недописанным на экране погасшего монитора. Кто-то другой допишет его в понедельник — или не допишет вовсе, и восемнадцать процентов так и уйдут в архив непрокомментированной цифрой. Меня это уже не касалось.

А потом откуда-то издалека донёсся звук. Не голос — скрип, деревянный, старый, такой, какой издаёт рассохшийся ставень на ветру. И вслед за ним — чьё-то дыхание, не моё, но почему-то ощущаемое как моё собственное.

Отчёты, кисти рук, дочь на другом конце оборванного звонка — всё это осталось там, где я только что была. Я не знала ещё, где я теперь. Но что-то в этом дыхании, слишком глубоком, слишком свободном для лёгких, к которым я привыкла за двадцать лет, подсказывало: там, где я теперь, начинается заново.

Глава 2. Чужое зеркало

Прежде чем в комнате кто-то появился, у меня было несколько минут в одиночестве — и я потратила их так, как тратила любое неожиданное окно тишины на работе: не на панику, а на составление списка.

Список начинался с потолка. Балки над головой были тёмными от старости, местами потрескавшимися, и паутина в углу говорила о том, что до этой спальни у прислуги давно не доходили руки — либо прислуги было мало, либо ей было не до уборки верхних углов. Я лежала на кровати с балдахином — тяжёлым, пыльным, тканевым, — под шерстяным одеялом, которое царапало кожу сквозь тонкую ночную рубашку. Комната была небольшой, но не бедной: у стены стоял резной комод, на комод — кувшин и таз, у окна — кресло с потёртой обивкой, а на стене напротив кровати темнел гобелен, настолько выцветший, что различить сюжет было невозможно. Ни одной розетки, ни единого провода, ни намёка на электричество — только огарок свечи в железном подсвечнике у изголовья.

Я осторожно села, ожидая, что тело откликнется привычной волной сопротивления, с которой я каждое утро поднималась последние годы, — и не дождалась. Спина не тянула. Колени не хрустнули. Встав и подойдя к узкому окну, я обнаружила, что иду ровно, без той осторожности, с которой я обычно спускалась по лестнице, боясь оступиться на затёкшей ноге.

За окном был двор — мощённый камнем, с колодцем посередине и десятком хозяйственных построек по периметру, — а дальше, за невысокой каменной оградой, тянулись поля, судя по цвету, убранные совсем недавно. Ни машин, ни линий электропередач, ни единого признака того мира, из которого я, по всей видимости, только что выпала. Воздух, проникавший в приоткрытую створку, пах сеном и печным дымом — деревенским, тем самым, каким пахнет в местах, где готовят на живом огне.

Факт первый, который я занесла в мысленный протокол: я не в больнице и не дома. Факт второй: тело, в котором я нахожусь, чужое, но подчиняется мне безотказно. Факт третий, самый неудобный: судя по отсутствию любых признаков двадцать первого века, я нахожусь не просто в другом месте. Я нахожусь в другом времени — или в другом мире целиком, и вторая версия, как ни странно, пугала меня меньше первой, потому что вторая хотя бы не требовала объяснять себе, куда делась вся современная цивилизация за одну ночь.

Именно на этом пункте моих размышлений дверь открылась, и в комнату вошла женщина лет шестидесяти, невысокая, широкая в кости, в переднике поверх тёмного платья. Она несла таз с водой и, не глядя на меня, направилась к столику у окна — судя по всему, была уверена, что застанет меня спящей, а не разглядывающей потолок с видом человека, у которого только что рухнула вся картина мира.

— Ваша светлость проснулись, — сказала она, заметив меня краем глаза, и в голосе не было ни капли удивления — только констатация факта, произнесённая тем же ровным тоном, каким я сама произношу цифры на летучках. — Полегчало вам?

Я не ответила сразу. Двадцать лет практики научили меня одному простому правилу: если не понимаешь ситуацию, молчи и слушай, пока не поймёшь. Правило работало на переговорах о зарплате, на конфликтах между цехами и, как выяснилось, продолжало работать даже тогда, когда сама реальность вокруг тебя оказывалась вывернутой наизнанку.

Женщина — судя по переднику и связке ключей на поясе, экономка или что-то в этом роде — поставила таз, подошла ближе и осторожно тронула моё запястье, считая, видимо, пульс так, как это делают люди без градусника и медицинского образования: по ощущению, по многолетней привычке.

— Третий день лежите, — сказала она. — Лекарь сказал, горячка. Я уж думала, не очнёшься, как ваш батюшка покойный, царствие ему небесное. А вы вон, глаза открыли, и ясные какие. Славно.

Третий день. Это была первая цифра, которую мне удалось зацепить в этом потоке незнакомых слов, и я вцепилась в неё так, как цепляюсь за любую цифру в непонятной ситуации — потому что цифры не врут, в отличие от людей.

— Как меня зовут? — спросила я. Голос вышел чужим — чуть выше моего собственного, с непривычной хрипотцой после долгого молчания.

Женщина застыла с полотенцем в руках.

— Ваша светлость? — переспросила она, явно решив, что ослышалась.

— Как меня зовут, — повторила я тем же тоном, каким на собеседовании прошу соискателя назвать точную должность на прошлом месте работы, если он замялся. — Полное имя. Мне нужно, чтобы вы его назвали.

— Графиня Альвина ди Морвен, — сказала женщина медленно, будто разговаривала с ребёнком или с человеком, которого горячка лишила рассудка. — Вдовствующая графиня. Вы что же, себя не помните?

Альвина ди Морвен. Я повторила имя про себя несколько раз, пробуя его на вкус, как пробуют новую должность в трудовой книжке. Оно не вызвало во мне ровным счётом никакого отклика — ни узнавания, ни тепла, ни единой связанной с ним эмоции, какая должна была бы быть у человека по отношению к собственному имени.

— А как зовут вас? — спросила я.

— Тэсса, ваша светлость. Тэсса, ключница. Служу у вас третий год, с тех пор как прежняя ключница преставилась.

Служит третий год. Значит, эта женщина — не самый надёжный источник по истории моей — то есть Альвины — жизни, но достаточно наблюдательный, чтобы заметить, если я начну вести себя не так, как должна. Это стоило учесть.

— Тэсса, у меня будет несколько вопросов, и мне нужно, чтобы вы отвечали прямо, без предположений о том, что со мной случилось. Хорошо?

Она кивнула, явно растерянная — судя по лицу, прежняя графиня Альвина никогда не разговаривала с прислугой в таком тоне, — но послушно.

— Какое сегодня число?

— Двадцать третье число месяца сбора, ваша светлость.

Это ничего мне не говорило, но я запомнила формулировку, чтобы потом сопоставить с календарём, если он вообще существует в этом мире в узнаваемом виде.

— Где мы находимся?

— В усадьбе ди Морвен, как и всегда. Вы уж точно голову ударили, — она снова потянулась потрогать мой лоб, и на этот раз я отвела руку — не резко, но достаточно твёрдо, чтобы она поняла: прикосновения без разрешения тут больше не приветствуются.

Я приподнялась на подушках — и тут же поняла вторую вещь, которую мне следовало занести в список фактов: тело слушалось меня легко, слишком легко для человека, который двадцать лет мучился с поясницей от сидячей работы. Спина не тянула. Плечи не ныли той тупой усталостью, которая накапливается годами неправильной осанки за компьютером. Я подняла обе руки перед собой и внимательно осмотрела пальцы — тонкие, без единого намёка на узловатые сочленения, которые я знала на своих собственных руках наизусть, вплоть до того, какой сустав как выглядит в дождливую погоду.

И тут же, будто вспомнив о себе именно потому, что я о них подумала, суставы отозвались тем самым тянущим, знакомым дискомфортом, который я чувствовала последние годы каждое утро. Не резкой болью. Тихим, безошибочно узнаваемым напоминанием.

Я замерла, разглядывая собственные — чужие — пальцы с недоверием врача, обнаружившего у пациента симптом, которого там просто не должно быть.

Тело было новым. Молодым, судя по ощущениям — лет на десять моложе того, в котором я провела последние сорок пять лет. А боль в суставах была старой. Моей.

Значит, дело не в теле. Дело было во мне самой — что бы ни означало это «я» теперь, когда прежнее тело осталось лежать на полу кабинета за тысячу миль, а может, и не миль вовсе, а чего-то куда менее измеримого.

Я отложила эту мысль в сторону — не потому что она не заслуживала внимания, а потому что паника по поводу метафизики никогда не помогала собрать нужные данные быстрее.

— Тэсса, принесите мне зеркало.

— Зеркало? — она моргнула. — У вас в комнате есть, ваша светлость, вон на комод.

Я встала — медленно, ожидая головокружения, которого не случилось, — и подошла к комоду. Отражение, которое встретило меня, принадлежало женщине лет тридцати пяти на вид, с тёмными волосами, собранными в небрежную косу, с усталым, но не измождённым лицом, в котором проступали мелкие морщины у глаз — единственный намёк на то, что обладательница этого лица прожила больше, чем можно было бы дать по коже. Глаза были карие, не мои — мои были серые. Нос — прямой, тоньше моего. Губы — бледные, потрескавшиеся, как у человека, который три дня пролежал в горячке.

Я долго смотрела на это лицо, ища в нём хоть что-то знакомое, и не находила ничего, кроме одного: взгляда. Взгляд был мой — тот самый, каким я двадцать лет смотрю на людей за столом переговоров, оценивая, лжёт мне собеседник или нет. Этот взгляд не принадлежал никакому телу. Он принадлежал мне.

— Тэсса, — сказала я, не отрываясь от зеркала, — у графини Альвины есть деньги? Дом, о котором вы говорите, — усадьба ди Морвен, — она в порядке? Есть долги?

Ключница замялась, и по этой заминке я поняла больше, чем она сказала бы словами.

— Долги есть, ваша светлость. Порядочные. С тех пор как граф преставился, дела у нас идут не то чтобы блестяще. Но об этом не мне вам рассказывать — управляющий Гурт лучше знает счета.

— Сколько лет прошло с тех пор, как граф умер?

— Шестой год пошёл, ваша светлость. Вы уж простите, что напоминаю — вы сами про это последнее время редко вспоминали.

Шесть лет вдовства, долги и дочь, которую эта самая графиня Альвина, похоже, видела реже, чем следовало бы, если Тэсса так осторожно подбирает слова. Что-то в этой формулировке царапнуло меня сильнее, чем должно было бы, — слишком уж знакомая конструкция: женщина, у которой были дела поважнее собственного ребёнка. Я узнавала эту женщину. Просто раньше видела её в зеркале другого, более привычного образца.

— А чем именно я — графиня — занималась последние годы? Раз не хозяйством и, судя по вашим словам, не дочерью.

Тэсса замялась во второй раз, и на этот раз заминка была куда красноречивее слов.

— По-разному, ваша светлость. Больше у себя сидели. Не обессудьте, что я так прямо, но вы сами спросили.

Долги. Плохое, но рабочее здоровье — если не считать того, что артрит явно переехал вместе со мной, а не остался в старом теле. Незнакомая страна, судя по обращению «ваша светлость» и упоминанию графского титула. И тело женщины, которая, если верить зеркалу, была моложе меня почти десять лет, но чьё лицо носило усталость, слишком похожую на мою собственную, чтобы быть совпадением.

— У меня есть семья? — спросила я, хотя часть меня уже боялась ответа.

— Дочь ваша, — сказала Тэсса, и в голосе её впервые прозвучало что-то похожее на осторожность. — Госпожа Лиана. Девятнадцать лет ей. Она третий день у вашей постели просидела, ваша светлость, глаз не смыкала, только сегодня утром я её насильно спать отправила.

Дочь.

Я опустила на край кровати, чувствуя, как земля — или то, что заменяло здесь землю под ногами — начинает уходить куда-то в сторону быстрее, чем я успеваю выстраивать очередной пункт своего мысленного протокола. У меня была Катя, с которой я не поговорила по-человечески три года и не успела попрощаться вовсе. И теперь, в теле женщины по имени Альвина ди Морвен, у меня, судя по всему, появилась ещё одна дочь — девятнадцатилетняя, незнакомая, три дня просидевшая у постели матери, которую, если верить зеркалу и собственному ощущению пустоты внутри, эта самая мать, вероятно, никогда толком не знала.

— Позовите её, — сказала я. — Пожалуйста.

Тэсса кивнула и вышла, оставив дверь приоткрытой, и в коридоре послышались её торопливые шаги — вверх, на другой этаж, туда, где, судя по всему, была комната дочери, а вовсе не рядом с материнской спальней, как полагалось бы в доме, где мать и дочь близки.

Я осталась одна, сидя на краю чужой кровати в чужом теле, в доме, о существовании которого час назад не подозревала, растирая привычным движением правое запястье, которое снова, тихо и упрямо, напомнило о себе тупой знакомой болью.

Список фактов, который я так старательно собирала последние минуты, был короток и от этого только страшнее: я умерла. Я оказалась в другом теле, в другом мире, под чужим именем. Титул, дом и, судя по обмолвке про долги, немалые проблемы достались мне в комплекте, без права отказа. И где-то в этом же доме сейчас поднималась по лестнице девятнадцатилетняя девушка, которая последние три дня боялась потерять мать — женщину, чьё место я заняла, не спросив разрешения ни у неё, ни у судьбы.

Дверь скрипнула. Я подняла взгляд и увидела на пороге молодую женщину с тёмными, как у меня в зеркале, волосами и настороженным, совершенно не радостным лицом — лицом человека, который слишком много раз обманывался в надежде, чтобы позволить себе обрадоваться раньше времени.

— Мама, — сказала она без вопроса, скорее проверяя, отзовусь ли я хотя бы на это слово. — Тебе правда лучше?

И я поняла, что второй за сегодня разговор начнётся с вопроса, на который у меня, при всём моём двадцатилетнем опыте, не было готового протокольного ответа.

Глава 3. Дочь

— Тебе правда лучше? — повторила она, не двигаясь с порога, будто боялась, что стоит подойти ближе, и окажется, что ей всё это почудилось.

Я разглядывала её так, как разглядывала бы нового сотрудника в первый день — быстро, но внимательно, стараясь считать максимум информации за минимум времени, пока собеседник не понял, что его изучают. Лиана была высокой, худой, с теми же тёмными волосами, что и у меня — то есть у Альвины, — собранными в тугий узел, с самого утра готовая скорее к дороге, чем к тому, чтобы сидеть у постели больной матери. Синие тени под глазами, потрескавшиеся от волнения губы, платье — практичное, дорожное, без единого намёка на украшения. Взгляд настороженный, оценивающий, слишком взрослый для девятнадцати лет — взгляд человека, который давно перестал ждать от близких людей чего-то хорошего и теперь готовится заранее к худшему.

— Лучше, — сказала я осторожно, взвешивая каждое слово, как взвешивают формулировку в приказе об увольнении, где одна неверная фраза может обернуться судебным иском. — Голова яснее. Хотя, признаюсь, некоторые вещи я помню... нечётко.

Это было не совсем ложью. Формально я действительно не помнила почти ничего из жизни Альвины ди Морвен — что можно было выдать за последствия горячки, не вызывая подозрений раньше времени.

Лиана вошла в комнату, но остановилась у изножья кровати, на безопасном расстоянии — том самом, на которое встают люди, давно научившиеся не подходить слишком близко к тем, кто может сделать больно.

— Нечётко — это как? — спросила она с подозрением, свойственным человеку, привыкшему проверять чужие слова на прочность. — Ты меня узнаёшь хотя бы?

— Узнаю, что ты моя дочь, — сказала я честно. — Остальное придётся тебе мне напомнить. Горячка забрала больше, чем я думала.

Она посмотрела на меня долгим, изучающим взглядом — и в этом взгляде было столько всего сразу, что я невольно вспомнила летучки, на которых приходилось разбирать, кто из сотрудников врёт, кто чего-то недоговаривает, а кто просто устал настолько, что ему уже всё равно, поверят ему или нет. У Лианы было немного от каждого из этих трёх состояний.

— Значит, ты не помнишь, что через семь дней меня увозят в Пепельный Предел, — сказала она наконец, и в голосе прозвучало не облегчение оттого, что мать очнулась, а что-то похожее на горькое удовлетворение: ещё одно доказательство того, что мать никогда толком не интересовалась её жизнью, даже накануне самого важного события в этой жизни.

Я не сразу нашлась с ответом — не потому, что не знала, что сказать, а потому что впервые за утро почувствовала себя не наблюдателем, собирающим факты, а человеком, которому только что сообщили что-то по-настоящему страшное, минуя все промежуточные стадии подготовки.

— Увозят куда? — переспросила я, и голос вышел резче, чем я планировала.

— В Пепельный Предел, — повторила Лиана тоном человека, который вынужден объяснять элементарные вещи. — К Владыке. Меня просватали за него ещё в прошлом году, ты сама подписывала бумаги. Через семь дней за мной приедут, а сама свадьба — позже, через сорок дней после того, как довезут.

Просватали. Владыка. Пепельный Предел. Каждое из этих слов по отдельности ничего мне не говорило, но сложенные вместе, да ещё произнесённые тем ровным, смиренным тоном, каким Лиана произносила их, они создавали картину, от которой у меня внутри — где бы теперь ни находилось это «внутри» — похолодело быстрее, чем от любой цифры текучести персонала за всю мою карьеру.

— Расскажи мне всё, что знаешь про этот брак, — сказала я, садясь ровнее. — С самого начала, в подробностях, — я и правда почти ничего не помню.

Лиана нахмурилась, но, кажется, решила, что просьба, при всей своей странности, безопаснее, чем очередной обмен колкостями, к которым она явно привыкла в разговорах со мной.

— Империя Асвейн платит десятину Пепельному Пределу раз в двенадцать лет, — начала она тем механическим тоном, каким рассказывают заученный урок. — Десятина — это невеста для Владыки. Дом Дар-Наэров держит какую-то печать на Грани, которая не даёт хлынуть оттуда всякой дряни, и печати нужна невеста из хорошего рода. Раньше отправляли дочерей императорского двора, но лет сто назад это как-то переиграли на знатные, но небогатые роды из провинций — вроде нашего. Отцу предлагали дважды. Первый раз он отказал наотрез, я это ещё маленькой помню — крик был на весь дом. Второй раз, уже после его смерти, ты согласилась. Быстро согласилась, я тогда удивилась даже.

Я потянулась было машинально потереть переносицу — привычный жест, которым я двадцать лет поправляла очки для чтения, прежде чем вчитаться в мелкий шрифт договора, — и с запозданием обнаружила, что очков на мне нет, а глаза, судя по всему, видят прекрасно и без них. Мелочь, но от неё меня почему-то качнуло сильнее, чем от известия про Владыку: тело забыло привычку раньше, чем я успела осознать, что привычка больше не нужна.

Я слушала, стараясь не выдать ни одной эмоцией того ужаса, который поднимался во мне с каждым новым словом. Быстро согласилась. Продала дочь — не было другого слова для того, что делала прежняя Альвина, — и, судя по тому, что рассказывала Лиана, даже не потрудились объяснить ей почему.

— А что за человек этот Владыка? — спросила я. — Ты его видела хоть раз?

— Никто его толком не видел, — покачала головой Лиана. — При дворе рассказывают разное: что он не старится, что живёт не одну сотню лет, что за глаза его называют то Пепельным, то просто Тёмным — из уважения, а может, из страха, тут не разберёшь. Приедет ли он сам за мной или пришлёт кого-то — тоже не знаю. В прошлый раз, помню, рассказывали, что приезжал лично.

Не одну сотню лет. Я мысленно отметила это как факт номер один в списке того, что нужно будет уточнить прежде, чем составлять хоть какую-то стратегию переговоров: с кем я имею дело, сколько ему лет и, самое главное, чего он вообще хочет от этого брака, помимо соблюдения какой-то древней традиции, которая, судя по количеству прежних невест, не заканчивается ничем хорошим ни для одной из сторон.

— И что происходит с невестами Владыки? — спросила я тем нейтральным тоном, каким спрашивают про статистику текучести, заранее зная, что цифра будет плохой.

Лиана впервые за разговор отвела взгляд.

— Об этом не принято говорить прямо, — сказала она. — Но невесты не возвращаются. Ни одна за триста лет. Марта — это кастелянша в замке, мне рассказывали, — хоронит их сама, одну за другой. Официально это называется честью. Неофициально при дворе шепчутся, что ни одна не доживает больше нескольких лет.

— И ты согласилась на это добровольно?

Это был неправильный вопрос — я поняла это сразу же, по тому, как дёрнулся подбородок Лианы, как сжались её тонкие пальцы в кулаки.

— А у меня был выбор? — спросила она резко. — Род должен заплатить десятину — либо я, либо кого-то из дальних кузин найдут и заставят, а у них, между прочим, дети маленькие. Или ты забыла, что у нас нет денег даже на то, чтобы заплатить откуп, который иногда принимают вместо невесты? Я хотя бы могу этим спасти род от полного разорения. Хоть какая-то от меня польза будет, раз уж больше я никому ни на что не гожусь.

Последняя фраза резанула меня почти физически — потому что я узнала в ней собственную интонацию, ту самую, с которой сама двадцать лет выторговывала себе право на существование через полезность, а не через факт того, что имею право просто быть. Дочь другой женщины, в другом мире, произносила слово в слово то, во что я сама верила всю свою предыдущую жизнь.

— Ты не обязана быть кому-то полезной, чтобы иметь право жить, — сказала я тихо, прежде чем успела обдумать, стоит ли говорить это вслух незнакомой девушке, которая всего час назад стала моей дочерью при обстоятельствах, которые я даже не начала осмысливать.

Лиана посмотрела на меня так, будто я заговорила на другом языке — недоверчиво, настороженно, но с той секундной вспышкой в глазах, которая появляется у человека, услышавшего то, что он хотел услышать много лет подряд и уже отчаялся дожидаться.

— Странно от тебя это слышать, — сказала она наконец, и голос дрогнул, прежде чем снова выровнялся в привычную оборонительную сухость. — Ты сама всегда говорила, что за место в этом мире надо платить. Что бесплатно ничего не бывает даже в семье.

Я не помнила, чтобы говорила это — потому что, разумеется, не говорила, это говорила прежняя Альвина, — но узнавание было слишком острым, чтобы делать вид, что фраза мне незнакома. Я говорила примерно то же самое, только другими словами, всю свою карьеру. Просто адресовала это подчинённым, а не собственному ребёнку.

— Значит, я ошибалась, — сказала я твёрдо. — И, возможно, не в первый раз. Сколько у нас времени до того, как за тобой приедут?

— Семь дней, считая с сегодняшнего утра, — повторила Лиана. — Гурт объявил об этом сразу, как получил письмо, — я, услышав новость, слегла с сердцем, а следом и ты — с горячкой. Совпало неудачно.

Семь дней. Я быстро прикинула: даже если бы у меня было полное представление о законах этого мира, о том, как работают договоры, о том, к кому обращаться за пересмотром условий, — семь дней для человека с моим опытом было не то чтобы много, но достаточно, чтобы хотя бы попытаться. Двадцать лет я разруливала конфликты, которые казались неразрешимыми накануне дедлайна, просто потому что умела найти в документе лазейку, которую другие не замечали, потому что боялись искать.

— Покажи мне договор, — сказала я. — Всё, что подписывала я — то есть твоя мать. Всё, до последней строчки.

— Договор в кабинете отца, у Гурта. Но зачем он тебе? Его же нельзя расторгнуть — это освящено Орденом, ты сама говорила, что раз печать поставлена, дело закрыто.

— Я, кажется, много чего говорила такого, с чем теперь не согласна, — ответила я, откидывая одеяло и заставляя себя встать, несмотря на лёгкое головокружение, которое всё-таки настигло меня с запозданием. — Возможно, прежняя я была права насчёт печати. А возможно, прежняя я просто никогда в жизни не читала документ внимательнее, чем требовалось, чтобы поставить подпись и отделаться. Я же вижу разницу. Дай мне эти семь дней, Лиана. Не обещаю чуда. Но я умею читать договоры так, как их не читает никто из тех, кто их составлял, — и если там есть хоть одна лазейка, я её найду.

Лиана смотрела на меня долго, будто взвешивая, стоит ли позволить себе поверить в то, что мать, впервые за всю её сознательную жизнь, действительно собирается бороться за неё, а не просто красиво говорить.

— Ты никогда раньше не пыталась, — сказала она тихо. — Даже когда отец был жив и всё ещё можно было что-то изменить. Ты просто... не занималась мной. Никогда.

В этой фразе не было ни грамма театральности — только усталая, много раз пережёванная правда, которую произносят не для того, чтобы ранить, а потому что она наконец нашла повод прозвучать вслух.

Мне нечего было на это ответить — по крайней мере, ничего такого, что не прозвучало бы как оправдание, а оправдания я ненавидела с обеих сторон стола переговоров одинаково сильно.

Пока я одевалась — медленно, заново привыкая к шнуровке на платье, с которой не справлялась ни одна из моих прежних деловых привычек, — Лиана без единого слова придвинула к кровати дорожный сундук, стоявший у стены, и откинула крышку. Внутри всё было уже собрано: несколько платьев, аккуратно сложенных, шкатулка, тёплый плащ. Ни одной лишней вещи, ни одной безделушки, которую взяла бы с собой девушка, рассчитывающая когда-нибудь вернуться.

— Ты уже собралась, — сказала я, не как вопрос, а как констатацию факта, от которой стало не по себе сильнее, чем от любых слов о Владыке.

— А смысл тянуть? — Лиана пожала плечами, но пальцы, поправлявшие край плаща в сундуке, дрогнули. — Лучше сделать это спокойно, самой, чем чтобы потом кто-то другой судорожно швырял вещи в последний вечер.

В этом жесте — аккуратно сложенных платьях, отсутствии единой личной вещи для памяти — было больше отчаяния, чем в любом крике или слезах, и я поняла, что смотрю на человека, который смирился настолько давно и настолько тщательно, что сам перестал замечать, насколько это смирение похоже на медленное самоубийство. Ровно так же, наверное, собирала вещи не одна невеста Владыки до неё — и ровно так же, подумала я с неприятным холодком, собиралась когда-то на нелюбимую работу я сама: спокойно, методично, не позволяя себе поверить, что могло быть иначе.

— Значит, у меня есть только семь дней, чтобы это исправить, — сказала я, наконец справившись со шнуровкой. — Начнём с договора. И, Лиана, — я дождалась, пока она поднимет взгляд, — я знаю, что верить мне у тебя нет никаких причин. Просто дай мне эти семь дней доказать, что причина всё же появилась.

Глава 4. Что говорят соседи

Договор Гурт принёс мне в малую гостиную — комнату на первом этаже, куда, по словам Тэссы, прежняя графиня спускалась редко, предпочитая принимать редких посетителей у себя наверху. Я выбрала гостиную сама, как только смогла твёрдо стоять на ногах: мне нужен был стол, достаточно большой, чтобы разложить документы, и достаточно людное место, чтобы за первые же полчаса понять, кто в этом доме на что годен.

Управляющий оказался мужчиной лет пятидесяти пяти, седым, с той особой сутулостью, которая появляется у людей, всю жизнь проводивших за конторскими книгами. Он смотрел на меня настороженно — примерно так же, как смотрят на начальника, который внезапно начал задавать вопросы по существу после многих лет благодушного невмешательства.

— Вот договор, ваша светлость, — сказал он, выкладывая на стол пухлую папку. — Как вы просили. Только я, право слово, не понимаю, зачем его сейчас перечитывать. Дело подписано, скреплено печатью Ордена — тут уже ничего не переиграешь.

— Это мы ещё посмотрим, — ответила я, открывая папку. — Присядьте, Гурт. У меня будут вопросы, а вы, кажется, единственный в этом доме, кто действительно разбирается в цифрах.

Он сел — с явным облегчением от того, что беседа пойдёт не в тоне выговора, — и первые полчаса ушли на то, что я привычно называю «инвентаризацией активов»: сколько земли у рода, сколько долгов, кому именно, под какой процент, есть ли родственники, к которым можно было бы обратиться за помощью. Картина складывалась безрадостная. Земли было немного, урожаи — посредственные, долги — три ростовщикам в столице провинции и один, самый крупный, самому Ордену Светлого Слова, взятый ещё покойным графом на реставрацию храма при усадьбе.

— Родня есть, — сказал Гурт неохотно, — но помогать не станет. Дальние кузины, за которых как раз опасается госпожа Лиана, — им самим впору у нас занимать, не то что нам у них. А ближе родни у графа не осталось: единственный брат умер бездетным.

— Значит, откупа не будет, — заключила я, отмечая это в блокноте, который позаимствовала у Гурта вместе с чернильницей. Писать пером оказалось на удивление легко — то ли руки Альвины были к этому привычны, то ли двадцать лет заполнения форм от руки в универе, до эпохи компьютеров, оставили след глубже, чем я думала. — Хорошо. Перейдём к самому договору.

Договор был длинным — на восьми листах убористого текста, написанного тем же канцелярским языком, которым составляют документы люди, специально обученные делать простые вещи максимально непонятными для тех, кто их подписывает. Я читала медленно, откладывая в сторону формулировки, показавшиеся мне странными, и на середине третьего листа поняла вещь, от которой похолодела больше, чем от всего сказанного Лианой накануне.

— Здесь написано, что невеста передаётся «безусловно и без права отзыва», — сказала я, не отрывая взгляда от строки. — Что значит «без права отзыва»? Это стандартная формулировка или конкретно для этого договора?

— Стандартная, ваша светлость. Так все договоры о десятине пишутся уже триста лет.

— А что случится, если сторона откажется исполнять условия после подписания?

Гурт заёрзал на стуле.

— Об этом лучше не думать, ваша светлость. Договор заверен Орденом Светлого Слова — а их магия работает так, что отменить заверенное можно только более ранней записью, признанной действительной. Найти такую запись — дело почти невозможное, у Ордена архивы охраняются строже казначейства.

Магия Слова. Я отложила это в памяти отдельным пунктом — первым настоящим фактом об устройстве этого мира, который звучал не как суеверие, а как система, у которой, как у любой системы, должны быть правила, исключения и лазейки. Двадцать лет я работала именно с такими системами: трудовым кодексом, коллективными договорами, уставом предприятия — документами, которые казались непоколебимыми ровно до тех пор, пока кто-то не находил в них прецедент, о котором все забыли.

— То есть теоретически, если найти запись более раннюю, чем этот договор, и доказать, что она действительна, — можно оспорить условия?

— Теоретически, — согласился Гурт с видом человека, который в жизни не видел, чтобы теория превращалась в практику. — Но, ваша светлость, я тридцать лет служу этому дому, и ни разу не слышал, чтобы кто-то сумел выйти из десятины через архивы Ордена. Люди пытались. Ничем хорошим это не заканчивалось.

Я отметила и это. Не как повод отказаться от идеи, а как предупреждение, что путь, скорее всего, будет сложнее, чем простое «найти нужную бумажку».

После обеда, который я, к собственному изумлению, съела с куда большим аппетитом, чем ожидала от женщины, накануне слёгшей с горячкой, я решила расширить круг опрошенных. Двадцать лет кадровой работы научили меня одному простому правилу: управляющий знает цифры, но правду о настроениях знает кухня. Люди, готовящие еду и стирающие бельё, слышат в разы больше, чем те, кто сидит в кабинетах с закрытыми дверями, — просто потому что их не считают опасными собеседниками.

Кухарку звали Ода — крупная, краснолицая женщина, вечно на ногах, вечно с полотенцем через плечо. Я застала её за чисткой овощей и села напротив, на низкую скамью — отчасти из тактических соображений, отчасти потому, что колени после утра, проведённого в кресле над договором, снова начали тянуть той знакомой тупой болью, которая подсказывала: даже в чужом молодом теле лучше сесть заранее, чем ждать, пока ноги откажут сами. Двадцать лет между совещаниями я усвоила простое правило: на одном уровне с собеседником, без нависания сверху, узнаёшь вдвое больше. Тут это правило ещё и совпало с тем, что телу было попросту легче.

— Ода, я хочу поговорить с вами про Пепельный Предел, — сказала я без предисловий. — Не как графиня с прислугой. Как человек с человеком. Что вы на самом деле об этом знаете?

Ода перестала чистить морковь и внимательно на меня посмотрела — видно, прежняя Альвина никогда не разговаривала с кухаркой на равных, и такая перемена показалась ей достаточно подозрительной, чтобы либо насторожиться, либо, наоборот, разговориться.

Она выбрала второе.

— Знаю то же, что и все, ваша светлость. У меня золовка замужем за купцом, который возит товар через северные земли, ближе к Пределу, чем мы тут. Так вот, он рассказывал: невест туда возят по одной раз в двенадцать лет, и обратно — никогда. Замок там, говорят, красивый, только людей мало, а слуги те, что есть, — все старые, будто им запрещено молодых нанимать.

— А что говорят про самого Владыку?

— Про него разное болтают, — Ода понизила голос, хотя в кухне, кроме нас, никого не было. — Кто говорит — чудовище, кто — что вежливый, страшнее любого чудовища. Мой золовкин муж говорит, что видел его один раз издали, на приёме у наместника северных земель. Говорит — обычный человек с виду, только глаза тяжёлые, будто много чего повидал, и разговаривает так ровно, что оторопь берёт. Не кричит, не грозит. Просто говорит — и все делают, как он сказал.

— А невесты — куда они деваются, если не возвращаются?

Ода перекрестилась — жест, который я отметила как ещё одну культурную деталь этого мира, требующую расшифровки позже, — и понизила голос почти до шёпота.

— Люди говорят — умирают там. Не сразу. Года через три-четыре. От чего умирают — никто толком не знает: лекари туда почти не ездят, да и те немногие, что всё же побывали в Пределе, предпочитают об этом молчать. Официально это называется честью рода, ваша светлость. Люди у нас в деревне между собой называют это иначе, только вслух стараются не говорить — не при жрецах Ордена, они это не любят.

— Почему не любят?

— Потому что Орден сам десятину и утверждает, — сказала Ода со вздохом человека, объясняющего очевидное. — Печать Ордена на договоре, святые отцы приезжают невесту благословлять перед отправкой. Если люди начнут между собой говорить, что десятина — не честь, а живодёрня, святым отцам придётся либо спорить с народом, либо признать, что все эти годы благословляли отправку девушек на смерть. Проще внушить всем, что это честь. Так и внушают.

Я сидела на низкой скамье, слушая женщину, которая, вероятно, никогда в жизни не переступала порог кабинета переговоров, и думала о том, насколько эта схема была мне знакома — только в другом масштабе. Институт, придуманный и поддерживаемый теми, кому он выгоден, и упакованный в слово «честь» для тех, кто должен эту цену заплатить. За двадцать лет работы в отделе кадров я видела десятки версий этой же истории: сокращение штата, преподнесённое как «оптимизация», урезание премий, названное «инвестицией в развитие компании». Слова, призванные заставить жертву поблагодарить за собственную беду.

— Спасибо, Ода, — сказала я, поднимаясь со скамьи и чувствуя, как в голове уже выстраивается план дальнейших действий. — Вы мне очень помогли.

— Вы что же, ваша светлость, — спросила она с осторожным удивлением, — и правда что-то придумать хотите? Прежняя-то вы... — она осеклась, явно испугавшись, что сказала лишнее.

— Прежняя я, — повторила я спокойно. — Кажется, здесь у всех сложилось довольно ясное мнение о том, какой я была прежде. Что ж. У меня есть семь дней, чтобы это мнение изменить.

У дверей кухни я столкнулась с конюхом — молодым парнем лет двадцати, тем самым, которому, судя по всему, в своё время достались перчатки одной из прежних невест Владыки, хотя эту связь я тогда ещё не могла провести. Он замер, увидев графиню там, где графине быть не полагалось, и неловко поклонился.

— Как тебя зовут? — спросила я.

— Финн, ваша светлость.

— Финн, ты возишь письма и грузы в столицу провинции?

— Бывает, что и вожу.

— В следующий раз, когда поедешь, узнай для меня одну вещь. — Я понизила голос, хотя в коридоре, кроме нас, никого не было — привычка, которую я, видимо, принесла с собой из мира, где утечка информации до совета директоров могла стоить сделки. — Есть ли в провинции архив или контора, где хранятся старые церковные записи, договоры прошлых веков. Не орденские, а местные, храмовые — те, что могли уцелеть до того, как Орден начал забирать всё себе. Узнай, не называя моего имени. Просто любопытствующий человек интересуется историей десятины. Сможешь?

Финн посмотрел на меня с тем особым удивлением, какое бывает у человека, вдруг обнаружившего в хозяйке кого-то незнакомого.

— Смогу, ваша светлость. Дядя мой при храме служкой был, пока жив. Может, он что и рассказывал в своё время, я разужнаю.

— Хорошо. Это может оказаться важнее, чем кажется на первый взгляд.

Возвращаясь по коридору в гостиную, где меня дожидался Гурт с недочитанным договором, я мысленно раскладывала полученную информацию по трём стопкам, как раскладывала

бы результаты собеседований: то, что можно использовать сразу, то, что требует проверки, и то, что пока выглядит бесполезным, но может пригодиться позже. В первую стопку легло главное: договор можно оспорить только более ранней записью. Значит, мне нужен архив Ордена — или доступ к чему-то, что подтвердит: где-то в истории этого дурацкого ритуала есть трещина, за которую можно уцепиться, как я цепляюсь за любую лазейку в трудовом кодексе, когда официальный путь ведёт в тупик.

Я не знала ещё, где искать эту трещину. Но я двадцать лет находила лазейки там, где другие видели только глухую стену, — и не собиралась останавливаться перед тем, что здесь называли волей богов, печатью Ордена и тремя веками традиции.

Вечером, укладывая Лиану спать — вернее, сидя у её кровати, пока она сама, не признаваясь в этом вслух, не заснула раньше обычного впервые за неделю, — я вернулась мыслями к разговору с Одой. Институт, придуманный теми, кому он выгоден. Слово «честь», прикрывающее слово «жертва». Официальная версия, которую все повторяют, потому что неофициальная слишком неудобна, чтобы жить с ней рядом.

Я знала таких людей на заводе — тех, кто двадцать лет проработал на вредном производстве, повторяя начальству, что гордится своей профессией, потому что признать иное означало бы признать, что вся жизнь потрачена на медленное самоубийство ради чужой прибыли. Я никогда не умела разрушать такие иллюзии напрямую — это разрушало людей быстрее, чем помогало им. Но я умела делать другое: находить документ, который менял правила игры так, что человеку больше не приходилось выбирать между гордостью и правдой.

Где-то в этом мире, за три века существования Печати Десятины, должен был существовать такой документ. Я не знала, как он выглядит и где искать. Но я знала, с чего начну: с храмовых записей, до которых Орден пока не успел дотянуться. Финн уедет завтра. У меня оставалось шесть дней, чтобы получить хоть что-то в ответ, прежде чем на пороге усадьбы появится тот, для кого весь этот договор был не абстракцией, а привычным делом.

Глава 5. Первая ошибка

Финн вернулся из провинции на второй день к вечеру — быстрее, чем я рассчитывала, но с новостями, которые оказались одновременно и обнадёживающими, и почти бесполезными. Дядя его, бывший храмовый служка, давно умер, но в местном храме сохранился архивный чулан, куда, по словам нынешнего настоятеля, годами сваливали всё, что Орден не счёл нужным забрать в столичные хранилища.

— Настоятель сказал, — доложил Финн, комкая в руках шапку, — что копать там позволяет только с разрешения владелицы земли, на которой храм стоит. А земля-то, ваша светлость, наша — при дедовском ещё пожаловании.

Это была первая настоящая удача за два дня, и я вцепилась в неё так же, как в своё время цеплялась за любую формальную зацепку в трудовых спорах: если земля храма принадлежит роду ди Морвен, значит, у меня есть законное право войти в архив, а не выпрашивать милости у настоятеля, который вполне может оказаться человеком Ордена по убеждениям, даже если формально ему не подчиняется.

Утром третьего дня, прежде чем сесть в карету, я долго стояла у зеркала, разглядывая незнакомое лицо, которое за эти дни успело стать чуть более узнаваемым — по выражению, которое я сама научилась в нём читать, если не по чертам. Спина, привычно ожидавшая утренней скованности, отзывалась лёгкостью, к которой я до сих пор не привыкла настолько, чтобы перестать удивляться каждое утро заново. Единственное, что осталось прежним, — усталость: она теперь копилась глубже, чем в поясице, — в самом решении снова и снова брать на себя больше, чем полагается брать одному человеку. Сорок пять лет привычки нести чужой груз никуда не делись вместе со старым телом.

Я выехала в храм сама, взяв с собой только Финна как проводника и Гурта — на случай, если понадобится подтвердить документами моё право распоряжаться землёй. Лиану я оставила дома, хотя она рвалась поехать: не хотела, чтобы очередная неудача — а я предчувствовала именно неудачу, хоть и не признавалась в этом вслух, — разбила ей сердце ещё раз, прежде чем у нас останется совсем мало дней на то, чтобы это сердце склеить.

— Ты опять решаешь за меня, — сказала она у крыльца, скрестив руки, тем защитным жестом, который я уже успела выучить наизусть за три дня. — Может, я хочу сама услышать, что там найдётся. Или не найдётся.

— Хочешь, — согласилась я. — Но если не найдётся ничего, я предпочла бы, чтобы ты услышала об этом от меня дома, а не увидела моё лицо в тот момент, когда я сама ещё не успею собраться с силами, чтобы тебя утешить. Дай мне побыть матерью хоть в этом, Лиана. Не потому что я лучше знаю. Потому что мне это нужно не меньше, чем тебе.

Она долго смотрела на меня — с тем же недоверием, с каким смотрела все предыдущие дни, но уже с трещиной в этом недоверии, — и наконец кивнула, коротко, неохотно, но кивнула.

Храм оказался небольшим, каменным, вросшим в холм так, что казалось — его строили не поверх земли, а прямо из неё. Настоятель, отец Ремигий, встретил меня с той настороженной вежливостью, с какой встречают начальство, знающее о некой должностной оплошности, но пока не решившее, наказывать за неё или нет.

— Ваша светлость, — сказал он, кланяясь чуть ниже, чем требовал этикет, — храм всегда рад видеть покровительницу земли. Чем обязаны?

— Мне нужен доступ к архивному чулану, — сказала я без предисловий, потому что вежливые обороты в переговорах хороши для затягивания времени, а времени у меня не было ни минуты лишней. — К записям, которые хранятся здесь дольше, чем существует нынешний порядок при Ордене.

Лицо отца Ремигия чуть дрогнуло — не испугом, но чем-то похожим на узнавание, будто он давно ждал, что рано или поздно кто-то задаст этот вопрос, просто не думал, что этим кем-то окажется хозяйка земли, на которой стоит его храм.

— Могу я спросить, ваша светлость, что именно вы ищете?

— Договор о десятине, который моя дочь обязана исполнить через несколько дней. И любые записи, которые могли бы объяснить его происхождение точнее, чем это делает орденская версия.

Отец Ремигий долго молчал, разглядывая меня так, как разглядывают человека, чью решимость проверяют на прочность взглядом, прежде чем поверить словам.

— Пойдёмте, — сказал он наконец. — Только предупреждаю сразу: то небольшое, что там осталось, Орден просматривал не раз. Если бы там было что-то по-настоящему опасное для их версии событий, оно давно исчезло бы вместе с пылью.

Архивный чулан оказался тесной комнатой без окон, заставленной сундуками и стеллажами, на которых громоздились свитки, папки и просто связки бумаг, перевязанные истлевшей от времени бечёвкой. Пахло здесь плесенью и мышами — тем самым запахом старой бумаги, который я успела полюбить за двадцать лет работы с личными делами сотрудников, потому что этот запах почти всегда означал: где-то здесь спрятана история, которую кто-то предпочёл бы забыть.

Мы провели в архиве несколько часов. Гурт разбирал документы по хозяйству — векселя, купчие, всё, что могло представлять интерес для управления землёй, но не имело отношения к моей цели. Отец Ремигий, к его чести, помогал искренне, указывая на самые старые сундуки в дальнем углу, куда, по его словам, свозили записи ещё до того, как приход перешёл под окончательный надзор Ордена.

Я искала методично, как искала бы нужный пункт в трудовом договоре двадцатилетней давности: по датам, по печатям, по почерку, пытаюсь найти хоть что-то, что упоминало бы десятину раньше того века, когда, по словам Гурта, договор приобрёл нынешнюю, неотменимую форму.

Работа эта была утомительной и в чём-то удивительно похожей на разбор личных дел уволенных десятилетия назад сотрудников: та же пыль, та же путаница в датах, тот же соблазн махнуть рукой и решить, что искомого документа никогда и не существовало. Я перекладывала свитки один за другим, шурясь на выцветшие чернила при свете единственной свечи, которую позволил зажечь в чулане отец Ремигий, опасаясь пожара среди такого количества сухой бумаги. К середине третьего часа руки — теперь снова мои собственные руки, тонкие и молодые, но с тем же упрямством, что и прежде, — начали затекать от постоянного перебирания, а глаза, вопреки моим ожиданиям от нового, более молодого тела, всё равно уставали от мелкого убористого почерка прошлых веков ровно так же, как уставали бы от отчёта на сто страниц, набранного мелким кеглем.

Гурт дважды предлагал сделать перерыв. Я дважды отказалась: знала на собственном опыте, что стоит остановиться на середине поиска, и уже не находишь в себе сил вернуться к нему с той же остротой внимания, с какой начинала.

Я нашла запись — одну-единственную, на пожелтевшем, местами истлевшем листе, датированную почти на сто пятьдесят лет раньше нынешнего договора. В ней упоминалась некая «выплата контуру», без слова «невеста» и без слова «десятина» вовсе, — но лист обрывался на середине фразы. Второй половины документа в чулане так и не нашлось, сколько бы мы ни перебирали оставшиеся сундуки.

— Кто-то забрал вторую часть, — сказал отец Ремигий тихо, разглядывая обрыв листа. — И, судя по срезу, забрал давно — край не рваный, а ровный, будто отрезали ножом, а не оторвали второпях.

Это было ровно то самое ощущение, которое я слишком хорошо знала по своей прежней профессии: чувство, что документ, который мог бы всё изменить, существовал когда-то целиком, а потом кто-то заботливо позаботился о том, чтобы он больше никогда не сложился воедино.

— Могу я забрать этот лист с собой? — спросила я.

— Он ваш по праву земли, ваша светлость. Забирайте.

Я свернула драгоценный обрывок и спрятала его за корсаж — за неимением карманов, достаточно надёжных для документа такой ценности, — и мы направились обратно в усадьбу, воодушевлённые куда больше, чем следовало бы от одной случайно уцелевшей половины фразы.

Настоящая ошибка ждала меня дома.

Гурт, проезжая через ближайший городок, заехал в местную ратушу — по своим делам, не связанным с моими поисками, — и там столкнулся со знакомым нотариусом, который, узнав о цели нашей поездки в храм, сказал прямо: подавать официальный запрос на пересмотр десятины через храм бессмысленно, потому что любое обращение по десятине автоматически регистрируется и пересылается в местную канцелярию Ордена — для, как это официально называлось, «сверки с каноном».

Я узнала об этом слишком поздно — вечером того же дня, когда в усадьбу прибыл гонец с письмом, украшенным знакомой уже чёрной печатью без герба.

Письмо было коротким. В нём сухо, без единого лишнего слова, сообщалось, что Орден Светлого Слова уведомлён о попытке рода ди Морвен оспорить действительность заверенного договора о десятине через местное духовенство, что подобные попытки квалифицируются как нарушение статьи о непрерываемости заверенных актов, и что впредь любые подобные действия будут расцениваться какотягчающее обстоятельство при пересмотре условий содержания семьи после исполнения десятины.

Я перечитала письмо три раза, каждый раз находя в нём новый слой скрытой угрозы под слоем канцелярской вежливости — угрозы, сформулированной настолько аккуратно, что придаться формально было не к чему, и настолько ясной по смыслу, что не оставляла места сомнениям.

За двадцать лет я составила, наверное, не одну сотню подобных писем сама — уведомлений о дисциплинарном взыскании, предупреждений перед увольнением, формулировок настолько выверенных, что юрист компании подписывал их не глядя. Сотрудник же, получивший такое письмо, ночь не мог заснуть, хотя формально ему не сказали ничего, что можно было бы оспорить в суде. Я узнавала здесь самую логику построения фразы, а не почерк писавшего: сначала констатация факта, затем отсылка к абстрактной норме, в конце — намёк на последствия, достаточно расплывчатый, чтобы его нельзя было привлечь к ответу, и достаточно конкретный, чтобы напугать до дрожи. Кто бы ни составлял канцелярию Ордена, этот человек учился той же школе давления, что и я сама, — просто на другом материале и с другой стороны стола.

— Что это значит — «условия содержания семьи после исполнения десятины»? — спросила Лиана, читая письмо через моё плечо, и голос её дрогнул сильнее, чем за весь предыдущий разговор о собственной судьбе.

— Это значит, — сказала я, стараясь, чтобы голос звучал ровно, хотя внутри у меня всё сжалось от того же самого страха, — что они дают понять: у них есть способы сделать твоей матери — то есть мне — очень плохо, если я продолжу искать способ вытащить тебя из этого брака официальным путём. Не через закон. Через храм, через архивы, через любую видимость легальности.

Гурт стоял в дверях, бледный, явно чувствуя себя виноватым за случайную обмолвку в ратуше, хотя вины его тут было ровно столько же, сколько в неудачном стечении обстоятельств.

— Простите, ваша светлость, — начал он, — я не знал, что нотариус...

— Это не ваша вина, — перебила я. — Это моя ошибка. Я думала, что имею дело с системой, у которой есть правила, — и не учла, что у этой системы есть ещё и служба безопасности, которая следит за тем, чтобы правила не читал никто внимательнее, чем положено.

Я держала в руках половину найденного документа — свидетельство того, что где-то в истории десятины была спрятана правда, ради которой стоило рисковать, — и одновременно письмо, доказывающее, что риск этот был куда реальнее, чем я готова была признать ещё утром.

Официальный путь оказался закрыт раньше, чем я успела толком по нему пройти. Оставалось признать очевидное: договор нельзя расторгнуть местными средствами, через храм или ратушу, потому что за каждым таким шагом следит сторона, у которой достаточно власти, чтобы удушить попытку в зародыше, даже не повышая голоса.

Значит, оставался только один путь — не в обход Владыки, а прямо к нему. Не через бумаги, отправленные заранее и перехваченные по дороге, а через разговор лицом к лицу, там, где ни один клерк Ордена не сможет встать между мной и человеком, принимающим решения.

Я ещё не знала, что мне не придётся ехать в Пепельный Предел, чтобы этот разговор состоялся. Мне достаточно было подождать один день.

Он приезжал за невестами лично. Значит, у меня будет ровно один шанс сказать ему в лицо всё, что я успела узнать за эти пять дней, — и я не собиралась тратить этот шанс на реверансы.

Глава 6. Он приезжает сам

Карета показалась на дороге к усадьбе на закате пятого дня — чёрная, без единого украшения, запряжённая четырьмя лошадьми того характерного пепельно-серого окраса, которого я до сих пор не видела ни у одной лошади в этом мире. Гурт увидел её первым, с крыши конюшни, куда полез проверять черепицу, и скатился вниз с прытью, неожиданной для человека его лет.

— Ваша светлость! Едут! Герб на дверце — Дар-Наэры, не иначе!

Дом взорвался тем особым хаосом, который я хорошо знала по временам крупных проверок на заводе: слуги забегали, Тэсса кинулась перестилать лучшую скатерть, кто-то отправился седлать лошадь, чтобы предупредить о госте заранее, хотя предупреждать было уже поздно. Я осталась стоять на крыльце, чувствуя, как внутри — в районе того места, где раньше сидела тревога перед важными переговорами, — разгорается знакомое, почти забытое чувство. Не страх. Собранность.

— Лиана, — сказала я, не оборачиваясь, хотя знала, что дочь стоит у меня за спиной, — иди переоденься во что-то простое. Не в парадное.

— Что? — она непонимающе моргнула. — Мама, это же Владыка. К нему положено...

— К нему положено то, что решаем мы, а не он, — ответила я. — Если ты выйдешь к нему разодетой, как товар на витрине, ты дашь понять, что согласна быть товаром. Простое платье, аккуратное, но без единой ленты, которая говорила бы «оцените меня». Пусть с первой секунды видит перед собой человека, а не приз.

В её взгляде — долгом, тяжёлом — недоверие последних двух дней потихоньку уступало место чему-то другому. Она молча пошла переодеваться.

Карета остановилась у крыльца ровно, без лишней торопливости, будто время для её пассажира не имело того значения, которое имеет для всех остальных. Дверца открылась, и наружу шагнул мужчина.

Первое, что я отметила — рост: он был высок, но не подавляюще, и держался прямо той сдержанной прямоотой, которая свойственна людям, привыкшим, что за ними наблюдают в любую секунду и любая слабость будет замечена. Тёмный камзол без единого украшения, кроме простой серебряной застёжки на вороте. Лицо — с виду лет сорока, резкие, чёткие черты, ни намёка на моложавую смазанность, которая бывает у людей, слишком долго живущих в достатке. Глаза светлые, почти пепельные, и в них было то самое, о чём говорила кухаркина золовка через мужа: тяжесть, которая появляется не от возраста, а от количества вещей, которые человек видел и не смог забыть.

— Графиня ди Морвен, — сказал он, слегка склонив голову — вежливо, ровно настолько, насколько требовал этикет, ни на градус больше. Голос был низким, чётким, без единой интонационной небрежности — голос человека, который давно научился говорить не думая. — Кассиан Дар-Наэр. Полагаю, вам известно, по какому делу я здесь.

— Известно, — ответила я, не кланяясь и не приседая в реверансе, хотя краем глаза заметила, как напрягся Гурт за моей спиной. — Прежде чем мы перейдём к делу, лорд Дар-Наэр, я хотела бы задать вопрос.

Что-то в его лице едва заметно изменилось — не удивление, скорее лёгкая перенастройка, с которой человек воспринимает неожиданный, но не угрожающий сбой в привычном сценарии.

— Задавайте.

— У вас с собой полный текст договора о десятине? Не выписка, не пересказ управляющего — весь документ, целиком, со всеми приложениями и историческими справками, которые к нему прилагаются?

Он смотрел на меня несколько секунд молча — не тем взглядом, каким смотрят на дерзость, а тем, каким смотрят на нечто, не укладывающееся в привычную категорию.

— С собой — копия, заверенная для передачи роду при подписании итогового акта, — сказал он наконец. — Полная, включая приложения. Могу я спросить, зачем вам это?

— Затем, что за пять дней я обнаружила: полного текста этого договора никто в этом доме никогда не читал целиком. Ни мой покойный муж, ни я сама в прежнем... — я на секунду запнулась, подбирая слово, — в прежнем своём состоянии, ни управляющий. Все просто подписали то, что им принесли, и поверили тем, кто сказал, что расторжение невозможно. Я не подписываю ничего, не читая. И не намерена делать исключение для документа, который решает судьбу моей дочери.

Кассиан Дар-Наэр молчал ещё дольше, чем в первый раз, и в этом молчании было что-то, чего я не ожидала увидеть на лице человека, приехавшего забирать невесту, — что-то похожее на интерес, тщательно упакованный за многовековую привычку ничего не показывать на лице.

— За триста лет службы моего дома, — сказал он наконец, — ни один из представителей семьи невесты не просил показать договор целиком. Просили сократить срок ожидания. Просили компенсацию. Однажды просили поменять невесту на менее любимую дочь. Но прочитать сам документ — никогда.

— Значит, у вас будет интересный день, — сказала я. — Потому что я собираюсь прочитать каждую страницу, прежде чем кто-либо из моей семьи сядет в вашу карету.

Он смотрел на меня ещё мгновение — и я готова была бы поклясться, что где-то в глубине этого тяжёлого, слишком много повидавшего взгляда мелькнуло нечто, отдалённо похожее на уважение, хотя лицо его не изменилось ни на йоту.

— Хорошо, — сказал он и сделал жест кому-то из своей свиты, оставшейся у кареты. Один из спутников — молодой человек в форме, судя по всему, секретарь или адъютант, — быстро принёс тяжёлую кожаную папку и передал её мне в руки лично, минуя протянутую было руку Гурта.

— Пройдёмте внутрь, лорд Дар-Наэр, — сказала я, принимая папку и чувствуя её вес — не только физический, но и тот, другой, символический, который ощущается, когда держишь в руках документ, способный решить чужую судьбу. — Это надолго. У нас достаточно свечей.

— У меня время есть, — ответил он, и что-то в этой короткой фразе — то ли лёгкая, почти незаметная сухая ирония, то ли просто усталая констатация факта человеком, для которого время давно перестало быть дефицитным ресурсом, — заставило меня украдкой взглянуть на него ещё раз, дольше, чем позволяли приличия.

Он поймал этот взгляд. И вместо того чтобы отвести глаза первым, как сделал бы любой смущённый собеседник, он просто ответил тем же — спокойно, изучающе, будто оценивал что-то за моей внешностью: расчёт, стратегию, человека, который, в отличие от всех предыдущих матерей невест, приехавших к нему за прошедшие три века, действительно намеревался сражаться.

Я первой отвела взгляд — смутиться я не успела, просто вспомнила: время у нас было, но не бесконечное, хотя ему самому, судя по всему, хватило бы его, чтобы просидеть за этим договором до утра, ничуть не устав.

Лиана вышла к нам как раз в этот момент, в простом сером платье, с тем настороженным достоинством, которому я так и не успела научить её сама, но которое, судя по всему, воспитала в ней сама жизнь. Кассиан склонил голову и ей — тем же ровным, дежурным поклоном, — и в этом жесте не было ни капли того особого внимания, каким смотрят на невесту мужчины, предвкушающие обладание.

Он смотрел на неё так, как смотрят на документ, который скоро придётся подписать. Вежливо. Отстранённо. И от этого взгляда мне почему-то стало только тяжелее — равнодушие пугало меня в этом контексте куда больше, чем откровенная угроза.

Мы устроились в той же малой гостиной, где неделю назад Гурт впервые разложил передо мной семейный экземпляр договора. Кассиан сел напротив, за тот же стол, и, к моему удивлению, не стал торопить меня и не смотрел с тем нетерпением, с каким смотрят люди, у которых есть дела поважнее. Он просто ждал — неподвижно, прямо, сложив руки на столе тем же жестом, каким, наверное, ждут решения на аудиенции у собственного начальства, только без единого признака подобострастия.

Я читала медленно, страницу за страницей, останавливаясь на каждой формулировке, которая казалась мне значимой, и время от времени задавала вопросы — прямые, деловые, вроде тех, что задаю на переговорах о слиянии отделов, когда важно понять подлинную логику соглашения, а не только его букву.

— Здесь сказано, что род освобождается от прочих податей короне «на срок исполнения десятины и год после». Что означает «год после» — после чего именно? После прибытия невесты или после самого обряда?

— После обряда, — ответил Кассиан. — Обряд происходит через сорок дней после прибытия. Печати требуется время на подготовку контура к приёму нового якоря — раньше нельзя, позже тоже не принято.

— А что происходит с родом, если невеста не доживает до этого срока?

Он ответил не сразу, и в паузе было что-то тяжелее, чем просто подбор формулировки.

— Льгота сохраняется в любом случае, — сказал он. — Раз обряд состоялся, десятина считается исполненной, вне зависимости от дальнейшего.

Я отметила это про себя как один из тех пунктов, которые пока звучат сухо, но за которыми, судя по интонации, скрывается куда больше, чем написано на бумаге, — и продолжила читать дальше.

— А это? «Печать судит волю, не возраст и не родство». Как это понимать — метафора или технический термин?

Кассиан впервые за разговор посмотрел на меня чуть дольше положенного.

— Не знаю, — сказал он ровно, и в этом коротком ответе было что-то непривычное для человека, за весь вечер не позволившего себе ни одной запинки. — Формулировка древняя, старше нынешней редакции договора. Толкователи Ордена объясняют её как поэтический оборот, не имеющий практического значения.

— А вы сами в это верите?

Он не ответил сразу, и в этой паузе я впервые увидела не Владыку Предела, а просто уставшего человека, которому третье столетие подряд задают вопросы, на которые у него нет готового ответа.

— Я перестал искать в этой формулировке смысл много лет назад, — ответил он. — Было проще.

Я отложила перо и посмотрела на него внимательнее, чем позволяли приличия за столом переговоров, — тем самым взглядом, которым двадцать лет читала людей, решивших, что усталость можно спрятать за ровным голосом.

— Лорд Дар-Наэр, при всём уважении к трёмстам годам традиции: человек, который «перестал искать смысл, потому что было проще», не выглядит как человек, довольный своей должностью.

В его лице что-то едва заметно дрогнуло — не улыбка, не раздражение, а нечто третье, слишком краткое, чтобы я успела дать этому название.

— Моя должность, графиня, не предполагает быть довольным. Она предполагает быть исполненной. Это разные вещи.

— Это очень канцелярский ответ на очень человеческий вопрос, — заметила я.

— Я привык к канцелярским ответам, — сказал он. — Они реже разрушают то, что и так еле держится.

В этой фразе было больше правды, чем он, кажется, собирался мне показать, и я решила не давить дальше: пугаться было нечему, просто двадцать лет опыта подсказывали, что человека, который только приоткрыл дверь в собственную усталость, нельзя допрашивать, как подозреваемого. Его нужно оставить в покое ровно настолько, чтобы он сам захотел приоткрыть её снова.

Часы на каминной полке — тяжёлые, с боем, единственный по-настоящему ценный предмет во всей гостиной — пробили десять, и я почувствовала, как тянущая тяжесть в пояснице, которую я весь вечер игнорировала силой воли, наконец заявила о себе в полный голос. Сорок пять лет привычки прямо сидеть за столом переговоров никуда не делись вместе со старым телом: спина уставала от долгого сидения одинаково что в отделе кадров, что в кресле графского кабинета.

— На сегодня достаточно, — сказала я, замечая, что и сама выдаю усталость непроизвольно откровенно. — Мы продолжим утром. Я найду в этом договоре то, что мне нужно, лорд Дар-Наэр, — можете быть уверены. Вопрос только в том, сколько вечеров это займёт.

Он поднялся вслед за мной — вежливо, без малейшего раздражения человека, привыкшего, что его время ценнее чужого.

— У меня есть семь дней до отъезда, — сказал он. — Я редко трачу их так, как трачу сейчас. Возможно, стоило начать это триста лет назад.

Он не улыбнулся, произнося это, и оттого фраза прозвучала скорее как признание, оброненное случайно, чем как любезность, — и я ещё долго думала о ней, пока Тэсса провожала гостя в отведённые ему покои, а я сама поднималась по лестнице, чувствуя, что впервые за пять дней у меня появился не только противник, но и вопрос, ответ на который мне вдруг стало интересно узнать не только ради Лианы.

Я отогнала эту мысль как несвоевременную и унесла с собой в спальню договор, который была готова читать столько ночей, сколько потребуется, чтобы найти в нём хоть одну трещину.

Глава 7. Пункт девять

Мы читали договор ещё два вечера — я задавала вопросы, Кассиан отвечал с той же ровной точностью, с какой отвечал бы на допросе, где не было ни единого шанса поймать его на лжи, потому что он, кажется, и не собирался лгать. Это было ново для меня: за двадцать лет переговоров я привыкла, что собеседник хотя бы иногда пытается что-то скрыть или приукрасить. Кассиан просто отвечал то, что знал, и честно признавался, когда не знал.

За эти два вечера я успела найти в договоре три несостыковки, которые могли бы стать полезными в других обстоятельствах, но ни одна из них не давала того, что было нужно: способа остановить обряд целиком. Пункт о сроках выплаты компенсации роду противоречил пункту о моменте, с которого десятина считается исполненной. Формулировка о «доброй воле невесты» нигде не поясняла, что происходит, если эта воля отсутствует изначально. А ссылка на «канон Ордена третьего пересмотра» вела в никуда — приложение с текстом этого канона в моей копии договора попросту отсутствовало.

— В вашем экземпляре есть текст канона третьего пересмотра? — спросила я на второй вечер, водя пальцем по строке со ссылкой. — В моём копия неполная — приложение отсутствует.

Кассиан на мгновение задержал взгляд на странице, прежде чем ответить, и это мгновение сказало мне больше, чем сказали бы любые слова.

— В моей тоже отсутствует, — сказал он. — Я никогда не придавал этому значения. Возможно, стоило.

Я отметила эту деталь так же, как отмечала бы пропавшую страницу в личном деле сотрудника, которого впоследствии обвинили в том, чего он не совершал: сама по себе она ничего не доказывала, но была слишком удобна для одной из сторон, чтобы сойти за случайность.

К вечеру второго дня усталость начала брать своё — не так, как брала бы её раньше, лomotой в пояснице после многочасового сидения, а иначе: тем особым утомлением глаз, которое приходит не от возраста тела, а от объёма информации, которую сознание вынуждено удерживать одновременно. Я потёрла переносицу — привычный жест, оставшийся от прежней жизни, хотя очков, которые полагалось бы поправить этим жестом, на мне давно не было, — и заставила себя сосредоточиться на следующей странице.

Именно там, на седьмой странице, ближе к вечеру второго дня, я наткнулась на пункт, который, судя по нумерации на полях, значился под девятым номером в разделе о сопровождающих лицах.

«Сопровождать невесту к месту исполнения десятины дозволяется одному лицу крови по её выбору, сроком не свыше срока обряда. Сопровождающее лицо крови в течение указанного срока пользуется всеми правами гостя дома Дар-Наэров и не подлежит ограничениям, налагаемым на саму невесту».

Я прочитала это дважды, затем в третий раз, уже вслух, медленно, будто взвешивая каждое слово на ладони.

— Лорд Дар-Наэр, что означает «сроком не свыше срока обряда»?

— Обряд происходит через сорок дней после прибытия, — ответил он. — Формулировка означает, что сопровождающее лицо может оставаться в Пределе вплоть до этого момента. Не дольше.

— Значит, сорок дней.

— Формально — да.

— А практически?

Он посмотрел на меня с тем выражением, которое я уже научилась узнавать за эти два вечера, — выражением человека, чувствующего, что разговор сворачивает туда, куда он не заглядывал очень давно.

— Практически этим пунктом не пользовались лет сто, если не больше, — сказал он. — Матери и родственницы невест предпочитают проститься на границе Предела. Путь туда тяжёл сам по себе, а находиться там, зная, что ждёт твою дочь, — испытание, на которое решается не всякий.

— Но право есть.

— Право есть, — подтвердил он, и в голосе его прорезалось давно забытое, почти детское любопытство, которое он, судя по всему, разучился показывать открыто. — Вы позволите спросить, к чему вы клоните, графиня?

Я закрыла папку, впервые за два вечера позволив себе паузу подольше, чтобы собраться с мыслями. Ответ я знала слишком хорошо и хотела произнести его вслух так, чтобы не осталось пространства для истолкования иначе, чем я задумала.

— Я клоню к тому, лорд Дар-Наэр, что воспользуюсь этим правом. Я поеду с Лианой в Предел как сопровождающее лицо крови. Все сорок дней, вплоть до самого обряда.

В комнате стало тихо — не той неловкой тишиной, которая бывает после неуместного слова, а тишиной куда более плотной, тишиной человека, обдумывающего последствия того, чего он не предвидел.

— Вы понимаете, что это значит? — спросил он наконец. — Сорок дней в Пределе — это не увеселительная поездка, графиня. Это холод, о котором вы не имеете представления, и зрелище приготовлений к обряду, которое я не пожелал бы видеть даже врагу.

— Я двадцать лет наблюдала за тем, как людей готовят к увольнению, лорд Дар-Наэр, — сказала я ровно. — Уверяю вас, я знакома с зрелищем, которое человек предпочёл бы не видеть, но обязан вытерпеть, если хочет защитить того, кто ему дорог.

— Это другое.

— Возможно. Но я не намерена спорить об этом с вами сейчас. Право прописано в договоре, который вы сами показали мне целиком, по собственной воле, хотя могли этого не делать. Значит, вы либо признаёте это право, либо мне придётся напомнить вам, что документ, скреплённый печатью Ордена, «отменяется только более ранней записью» — а не устным пожеланием того, кто его подписывал с другой стороны.

Что-то дрогнуло в его лице — не раздражение, скорее сдержанное, тщательно спрятанное веселье, которое он тут же убрал за прежней ровностью тона.

— Вы цитируете мне мой же собственный принцип, — сказал он.

— Я применяю логику там, где она применима, вне зависимости от того, кому она принадлежит изначально.

Он молчал ещё несколько секунд, разглядывая меня с тем вниманием, каким смотрят на партию в шахматы, обернувшуюся неожиданным ходом противника, — ходом, который не нарушает правил, но полностью меняет расстановку сил на доске.

— Хорошо, — сказал он наконец. — Я не вижу законных оснований отказать. Но предупреждаю: я не стану делать для вас исключений из-за холода, неудобств или того, что вам не понравится увиденное. Вы просите право — вы получите его на равных условиях со всеми, кто пользовался им прежде.

— Устраивает, — ответила я, хотя внутри уже начинала прикидывать список того, что понадобится взять с собой: тёплую одежду, блокноты, чернила, и, если получится раздобыть, хоть какое-то подобие карты Предела, чтобы не блуждать там вслепую в первые дни.

Лиана, узнав о моём решении вечером того же дня, отреагировала не так, как я ожидала. Не благодарностью, не облегчением — недоверием, всё тем же, привычным, только теперь сме-

шанным с растерянностью человека, которому только что предложили нечто настолько неожиданное, что он не сразу понимает, как на это реагировать.

— Ты серьёзно едешь со мной? — спросила она. — Не до границы, а туда, внутрь? На все сорок дней?

— Серьёзно, — сказала я. — Я не собираюсь отпускать тебя одну туда, где я даже приблизительно не понимаю правил игры. Мне нужно быть внутри, Лиана. Снаружи я ничего не смогу сделать, кроме как писать письма, на которые никто не ответит.

— А если ты не найдёшь способа меня спасти? — спросила она тихо, и в этом вопросе впервые за неделю прозвучал не защитный панцирь, а обнажённый, неприкрытый страх девятнадцатилетней девушки, которая слишком долго делала вид, что смирилась. — Что тогда? Ты просто будешь смотреть, как это... как это происходит со мной?

Я подошла и, впервые с момента нашего знакомства в этом новом для меня мире, взяла её за руку — без всякого расчёта на внешний эффект, просто потому что мне действительно нужно было её коснуться, убедиться, что она настоящая, что я ещё не опоздала.

— Если я не найду способа, — сказала я, — я буду там, рядом, до последней минуты, в которую смогу быть рядом. Я не оставлю тебя разбираться с этим в одиночку — как бы ни закончилось дело. Это я тебе обещаю твёрдо, вне зависимости от того, сдержу ли остальные обещания.

Она долго молчала, разглядывая меня, и что-то в её взгляде впервые за неделю смягчилось настолько, что она не отняла руку.

— Ты изменилась, — сказала она наконец, тихо, почти неохотно, будто сама не была уверена, хочет ли произносить это вслух. — После горячки. Я не понимаю, как, но ты правда изменилась.

Я не стала это отрицать и не стала объяснять. Пугать её правдой я не боялась — просто сама ещё не была готова облечь эту правду в слова, которым она могла бы поверить. Вместо этого я просто сжала её пальцы чуть крепче и сказала единственное, что было абсолютной правдой, вне зависимости от того, в каком теле и в каком мире я её произносила:

— Может быть, это первое, что я сделала правильно за очень долгое время.

Гурт воспринял новость о моём отъезде куда тяжелее, чем я ожидала.

— Ваша светлость, при всём уважении, — сказал он, когда мы остались одни в кабинете, — вы хоть понимаете, что такое сорок дней в Пределе для человека непривычного? Я слышал рассказы от купцов, что там даже колодезная вода отдаёт пеплом. А хозяйство здесь останется без вашего надзора — я, конечно, справлюсь, но...

— Гурт, — перебила я мягко, — вы вели хозяйство этого дома последние шесть лет практически без всякого моего надзора, и справлялись лучше, чем справлялась бы я сама, не разбираясь толком в тонкостях аренды здешних земель. Я вам доверяю. И я не могу отправить дочь одну в место, откуда, по слухам, не возвращаются, оставшись дома лишь потому, что дома привычнее и безопаснее.

Он долго молчал, комкая в руках всё тот же лист с описью, что и в первый день моего пробуждения.

— Прежняя графиня Альвина никогда бы так не сказала, — произнёс он наконец, тихо, будто сам удивлялся собственным словам. — Но, при всём уважении, ваша светлость, — я рад, что вы теперь говорите именно так.

Сборы заняли остаток дня и весь следующий: тёплая одежда, которой в доме отродясь не водилось в нужном количестве, поскольку климат провинции был мягким круглый год, — пришлось спешно перешивать зимние плащи покойного графа под нужный размер. Чернила, бумага, дорожная чернильница с плотной крышкой, чтобы не расплескалась в пути. Список вопросов, которые я собиралась задать в Пределе при первой возможности, — список этот к

вечеру второго дня сборов занял уже четыре страницы убористым почерком и не думал заканчиваться.

Утром следующего дня, когда Кассиан выехал обратно в Предел, чтобы подготовить всё необходимое к нашему прибытию, а мы с Лианой заканчивали собираться в дорогу, которая должна была начаться через два дня, я поймала себя на мысли, что впервые за неделю чувствую не только страх, но и нечто похожее на азарт — тот самый охотничий азарт, с которым двадцать лет бралась за самые безнадежные кадровые дела, потому что где-то в глубине верила: безнадежных дел не существует, есть только те, в которые ещё не заглянули достаточно внимательно.

Пункт девятый оказался первой настоящей трещиной в стене, которая до сих пор казалась мне глухой. Я не знала ещё, куда именно эта трещина меня приведёт. Но я знала одно: я войду в эту дверь так далеко, как только смогу, — и не выйду, пока не найду то, что ищу, или пока не станет слишком поздно.

В последнюю ночь перед отъездом я долго не могла заснуть — не от тревоги, хотя тревоги было в достатке, а от того особого возбуждения, которое всегда предшествовало у меня самым важным переговорам в прошлой жизни: смеси азарта и трезвого расчёта, при которой сон отступает сам собой, потому что голова слишком занята выстраиванием следующих шагов. Я лежала в темноте, перебирая в уме всё, что успела узнать за неделю — обрывок документа про «выплату контуру», формулировку про волю, которая не зависит от возраста и родства, молчание Кассиана там, где ему полагалось бы иметь готовый ответ, — и понимала: это только начало. Настоящая работа ждала меня там, куда добраться можно было только одним способом — самой, вместе с дочерью, три дня пути на север, к самой Грани.

Я уснула, так и не решив, чего в этом путешествии больше — материнского долга или того упрямого, въевшегося в кровь азарта человека, который двадцать лет находил лазейки там, где другие видели только глухую стену. А утром, натягивая дорожное платье, поймала себя на мысли, что впервые за много лет засыпала не с чувством вины за неделанное, а с чувством, что наконец-то делаю ровно то, что должна.

Глава 8. Дорога

Карета, присланная за нами утром седьмого дня, оказалась куда удобнее той, в которой Кассиан приезжал в усадьбу, — очевидно, рассчитанной на долгий путь, а не на короткий визит с целью произвести впечатление. Внутри пахло кожей и травяным сбором, разложенным в углах на случай укачивания, а сиденья были обиты плотной тканью, достаточно мягкой, чтобы не превратить три дня пути в три дня мучений для спины, к которой я, несмотря на молодость нового тела, всё ещё относилась с настороженной бережностью человека, помнящего, чем оборачивается лишняя нагрузка.

Первую ночь мы провели на почтовой станции — приземистом каменном строении на полпути между провинцией и границей Предела, с общим залом внизу и тесными комнатами наверху, где хозяин, узнав, кого именно везёт карета с гербом Дар-Наэров, лично проверил каждую половицу на предмет скрипа — видно, боялся именно скрипа больше, чем скудости самой обстановки. Комната, доставшаяся мне, была маленькой, с узкой кроватью и очагом, который дымил больше, чем грел, но после целого дня тряски в карете даже такая постель показалась настоящим благословением.

Спина к вечеру ныла ровно так, как ныла бы после десяти часов за рулём в моей прежней жизни, — тянущей, разлитой по всей пояснице усталостью, которую я слишком хорошо знала, чтобы паниковать, но недостаточно хорошо, чтобы полностью её игнорировать. Я растёрла поясницу привычным движением, вспоминая с невольной горечью, что молодое тело, вопреки ожиданиям, вовсе не избавляло от возрастной усталости, если её источником было не тело, а количество часов, проведённых в одном и том же положении. Тело можно поменять. Опыт полувека тряски по чужим дорогам, видимо, переезжает вместе с сознанием так же исправно, как переехал артрит.

Лиана села напротив меня, прижавшись плечом к окну, и почти весь первый день проговорила крайне мало: не от обиды — от того особого, тяжёлого молчания, в котором человек прощается со всем, что было привычным, ещё до того, как это привычное успело окончательно исчезнуть из виду. Я не торопила её разговором. Иногда лучшая поддержка — это просто быть рядом, не требуя немедленной благодарности за собственное присутствие; этому меня, как ни странно, тоже научила прежняя профессия — умение сидеть в комнате с человеком, которому только что сообщили плохие новости, и не заполнять тишину неуместными словами.

Кассиан ехал верхом рядом с каретой большую часть пути, но на привалах неизменно оказывался поблизости, без всякой навязчивости — с той методичностью, с какой человек, отвечающий за организацию поездки, проверяет, всё ли идёт по плану. На второй день, во время полуденной остановки, он сам принёс мне кружку горячего взвара, пока слуги разжигали костёр для обеда.

— Вы всё записываете, — заметил он, кивнув на блокнот у меня на коленях, который я действительно не выпускала из рук с самого отъезда, заполняя страницу за страницей вопросами, наблюдениями и деталями, которые могли впоследствии оказаться важными. — Могу я спросить, что именно?

— Всё, что может пригодиться, — ответила я. — Названия, имена, детали быта. Двадцать лет работы научили меня одному: то, что кажется неважным сегодня, завтра оказывается единственной зацепкой, которая у тебя есть.

Он посмотрел на исписанные страницы с тем выражением, которое я уже научилась распознавать за прошедшую неделю, — сдержанного любопытства, тщательно спрятанного за привычной невозмутимостью.

— За триста лет я не встречал человека, который считал бы мои слова, как монеты, — сказал он тихо, будто произнося это скорее для себя, чем для меня. — Взвешивал бы каждую, прежде чем принять на веру.

— Я не считаю ваши слова монетами, лорд Дар-Наэр. Я считаю их данными. Это разные вещи: монету можно потратить не глядя, данные же сперва нужно проверить на достоверность.

Что-то, отдалённо похожее на улыбку, тронуло уголок его рта — не полностью, лишь настолько, чтобы я успела это заметить прежде, чем он снова спрятал выражение за привычной сдержанностью.

— Разумное разграничение, — сказал он. — Могу я узнать хотя бы один пункт из уже собранных данных? Из любопытства, не более.

Я пролистала блокнот назад, к записи, сделанной ещё в первый час пути.

— Пожалуйста. Пункт третий: «Лорд Дар-Наэр лично проверяет упряжь перед каждым выездом, хотя для этого есть конюхи. Вывод: либо не доверяет чужой работе, либо не умеет делегировать то, что считает важным».

В его взгляде мелькнуло выражение человека, которого поймали на чём-то, в чём он сам себе никогда не признавался вслух.

— Второе, — сказал он после паузы. — Пожалуй, второе.

— Это тоже данные, — заметила я. — И довольно ценные.

Он не ответил, только коротко кивнул и вернулся к лошади, оставив меня наедине с кружкой взвара и вопросом, который я предпочла отложить на потом: почему меня так задело то, что он назвал это одиночество тремя веками, а не одним конкретным числом лет.

Она считает мои слова, как монеты — взвешивает каждую, прежде чем принять на веру. Я думал, что за триста лет разучился удивляться тому, как ведут себя матери невест. Ошибался. Матери приезжали умолять, торговаться, однажды — угрожать, хотя угрозы человека без единого солдата за спиной звучат скорее печально, чем страшно. Ни одна не спрашивала меня прямо: «Как вы себя чувствуете, когда подписываете это в очередной раз?» Она спросила — вчера вечером, между делом, листая приложение о наследовании титула, как будто вопрос не стоил ей никакого труда. Я не нашёлся с ответом. Точнее, нашёлся, но ответ этот показался мне настолько непривычным для произнесения вслух, что я предпочёл сменить тему. Возможно, стоит обдумать, почему за триста лет никто прежде не задавал этого вопроса — и что это говорит обо мне самом, если единственный человек, спросивший об этом, приехал не спасать себя, а спасать чужую дочь.

Утром второго дня, спускаясь к карете, я застала Лиану в общем зале станции — она сидела за грубым деревянным столом напротив пожилой женщины, судя по одежде, местной травницы, дожидавшейся своей очереди на осмотр у станционного врача.

— Мама, — окликнула меня Лиана, — эта женщина говорит, что бывала в Пределе — возила туда травы для замковой кухни. Спроси её сама, ты лучше умеешь спрашивать.

Травница — сухонькая, с цепким взглядом, какой бывает у людей, всю жизнь проживших в достатке чужого недоверия, — смерила меня оценивающим взглядом, но, узнав, что перед ней сама «сопровождающая мать», заговорила охотнее, чем я рассчитывала.

— Замок не злой, ваша светлость, если вас это беспокоит, — сказала она, прихлёбывая травяной отвар из глиняной кружки. — Люди там просто уставшие. Служат десятилетиями, хоронят одну невесту за другой — поневоле зачерствеешь. А сам Владыка... — она понизила голос, хотя в зале, кроме нас, почти никого не было, — говорят, добрее, чем полагается по должности. Слуги его не боятся, ваша светлость. Уважают, да, робеют — но не боятся. Это редкость для такого места.

Я поблагодарила её и, уже направляясь к карете, поймала себя на мысли, что эта короткая беседа стоила больше, чем все придворные слухи, собранные Одой на кухне усадьбы: люди, которые служат человеку годами и не боятся его, редко ошибаются в главном.

К вечеру второго дня пейзаж за окном начал меняться — зелень провинции сменилась более скудной, серовато-бурой растительностью, а воздух стал ощутимо холоднее, хотя по календарю до зимы было ещё далеко. Лиана, впервые за два дня, придвинулась ближе к окну, разглядывая перемену с тем настороженным любопытством, с каким смотрят на приближение неизбежного.

— Мы почти на границе, — сказала она тихо. — Кучер говорил, ещё день, и увидим Грань.

— Расскажи мне, что ты знаешь о ней, — попросила я, откладывая блокнот. — Не слухи придворных, а то, что действительно можно проверить.

— Немного, если честно. Она где-то на севере Предела, за ней — Изнанка, оттуда идёт весь пепел. Печать держит проход закрытым. Больше я и сама толком не знаю.

Я отметила это как ещё один пункт для будущих вопросов и, глядя на дочь, впервые за поездку заметила то, что должна была заметить раньше: страх на её лице был другим, чем в первые дни после моего пробуждения. Не пассивным смирением, а тем настороженным ожиданием, которое появляется у человека, начавшего — пусть осторожно, пусть не признаваясь в этом даже себе — надеяться, что дело может обернуться иначе, чем он готовился все эти месяцы.

Надежда, как я хорошо знала по своей прежней профессии, — вещь обоюдоострая. Она даёт силы держаться. Но она же делает падение, если оно случится, куда болезненнее, чем было бы падение с уже смилившегося места.

— Лиана, — сказала я осторожно, — я не хочу, чтобы ты возлагала на меня больше надежды, чем я реально могу оправдать. Я найду то, что можно найти. Но я не волшебница, и я не могу обещать тебе результат — только то, что буду искать его изо всех сил, какие у меня есть.

— Я знаю, — ответила она, и впервые за неделю в её голосе прозвучало что-то похожее на доверие, не выстраданное, не вырванное силой обстоятельств, а данное добровольно, хоть и с оглядкой. — Просто... впервые за долгое время у меня есть на что надеяться. Даже если это глупо.

— Это не глупо, — сказала я. — Это, пожалуй, самое разумное, что можно делать в нашем положении, — надеяться, одновременно готовясь к худшему. Одно другому не мешает. Я двадцать лет вела дела именно так.

Вечером третьего дня, когда солнце клонилось к горизонту, а карета начала подниматься по пологому склону, ведущему, судя по всему, к перевалу, Кассиан подъехал к окну и знаком попросил остановить.

— Дальше лучше видно пешком, — сказал он, спешиваясь и открывая дверцу кареты сам, раньше, чем это успел сделать кучер. — Первый вид на Предел стоит увидеть не через мутное стекло.

Я вышла, придерживаясь за его руку — жест чисто механический, вежливый, но всё равно странно ощутимый после недели, проведённой в обществе человека, который до сих пор прикасался ко мне только в подобных формальных случаях. Лиана вышла следом, и мы втроем подошли к самому краю перевала.

Внизу, насколько хватало глаз, простиралась земля пепельного цвета — не мёртвая, как я ожидала, а скорее застывшая в каком-то вечном сумеречном состоянии между жизнью и её отсутствием: невысокие деревья с посеребрённой, будто инеем тронутой листвой, редкие огоньки поселений вдалеке, а за всем этим, на самом горизонте, — тёмная линия, от которой, даже на таком расстоянии, тянуло ощутимым, почти физическим холодом.

— Грань, — сказал Кассиан тихо, и в этом единственном слове было больше усталости, чем во всех предыдущих его фразах вместе взятых. — А это, — он повёл рукой в сторону

приземистого, но величественного силуэта замка на возвышенности впереди, — Предел. Ваш дом на ближайшие сорок дней, графиня.

Я смотрела на этот пейзаж — чужой, холодный, пугающий и одновременно завораживающий той особой красотой, какая бывает у вещей, балансирующих на грани разрушения, — и чувствовала, как внутри, вперемешку со страхом за Лиану, поднимается то самое чувство, которое я привыкла испытывать в первый день на новом сложном проекте: смесь тревоги и решимости, без которой, как я хорошо знала по опыту, ни одно трудное дело не двигается с места.

Лиана стояла рядом, вцепившись в край моего рукава пальцами — жест, которого она не позволяла себе с самого моего пробуждения, слишком взрослая и слишком настороженная, чтобы искать утешения в прикосновении. Сейчас, глядя на замок, который через сорок дней должен был решить её судьбу, она забыла об этой настороженности.

Я накрыла её пальцы своими — свободной рукой, не той, которую всё ещё придерживал Кассиан, — и почувствовала, как холодный ветер с перевала треплет полы наших дорожных плащей одинаково безжалостно что к графине, что к её дочери, что к Владыке, для которого этот вид давно перестал быть внушительным, но, судя по его лицу, так и не стал привычным.

— Что ж, — сказала я вслух, ни к кому конкретно не обращаясь. — Начнём.

Кассиан покосился на меня с тем выражением, которое я уже дважды видела за эти три дня, — смесью настороженности и того самого сдержанного интереса, который он, судя по всему, давно разучился выражать иначе. Он не ответил. Просто первым начал спускаться по тропе к воротам, и мы с Лианой пошли следом, к дому, который на ближайшие сорок дней должен был стать нашим полем боя.

Глава 9. Пепельный Предел

Ворота Предела были выше, чем казались снизу, с перевала, — тяжёлые, кованые, покрытые тонким серебристым инеем, который, судя по всему, не таял здесь даже в разгар дня. За ними открывался двор, вымощенный тёмным камнем, с колодцем посередине точно таким же, каким я представляла себе двор любой усадьбы этого мира, — только здесь, среди пепельного света и стелющегося понизу тумана, даже такая обыденная деталь выглядела чужой, будто её перенесли сюда из другого, более тёплого мира и забыли объяснить, что здесь ей полагается выглядеть иначе.

Нас встречала женщина лет шестидесяти, невысокая, крепко сбитая, в тёмном платье и переднике, с той прямой спиной и цепким взглядом, которые мгновенно выдают человека, привыкшего командовать целым штатом прислуги без права на ошибку. Она присела в реверансе перед Кассианом — коротком, привычном, без тени подобострастия, — а затем повернулась к нам с Лианой, и взгляд её сделался чуть более внимательным, чем того требовала обычная вежливость.

— Марта, — представил её Кассиан. — Кастелянша Предела. Служит здесь дольше, чем кто-либо из ныне живущей прислуги, — сорок лет.

— Служу, потому что кто-то должен, — сказала Марта сухо, оглядывая нас обеих с тем выражением, в котором читалась не враждебность, а измождённая настороженность человека, слишком много раз видевшего, чем заканчиваются подобные визиты, чтобы позволить себе радоваться новым лицам. — Ещё одна.

Последнее слово было брошено вскользь, почти без интонации, но я расслышала в нём всю тяжесть, которую оно несло: ещё одна невеста, ещё одни похороны на горизонте, ещё одна фамилия, которую придётся вписать в акт о выбытии через несколько лет.

За её спиной, в глубине двора, я заметила ещё нескольких слуг — все, как один, в возрасте, ни одного молодого лица среди них, точно замок сознательно избегал нанимать людей, которым ещё предстояло прожить здесь долгую жизнь. Позже я узнала, что так оно и было: Кассиан старался брать в услужение только тех, кто уже прожил большую часть своей жизни, — меньше горя, если что-то случится, меньше лет, которые придётся оплакивать.

— Меня зовут Альвина ди Морвен, — сказала я, не дожидаясь, пока Кассиан меня представит. — Я не невеста, Марта. Я мать. И я планирую пробыть здесь все сорок дней — не как гостя, ожидающая чаепитий, а как человек, который намерен разобраться, что здесь на самом деле происходит.

Марта посмотрела на меня долгим, изучающим взглядом — точно таким же, каким сама я разглядывала бы нового сотрудника, чьё резюме выглядело подозрительно хорошо для рядовой вакансии.

— Прежде у нас матери надолго не задерживались, — сказала она. — Прощались у ворот и уезжали. Оно и понятно — сердце не казённая вещь, долго такое терпеть здоровью не пойдёт.

— Я привыкла к вещам, которые здоровью не идут, — ответила я. — Двадцать лет практики.

Что-то, отдалённо похожее на одобрение, мелькнуло в глазах кастелянши — быстро, почти незаметно, но я уже научилась ловить подобные вспышки за время общения с Кассианом и не собиралась упускать их и здесь.

— Ну, поглядим, графиня, — сказала Марта. — Пойдёмте, покажу вам комнаты. Замок велик, заблудиться немудрено, а мне двух потерянных постоялиц в первый же вечер не надобно.

Лиана всю дорогу от ворот до крыльца молчала, вцепившись в мою руку так крепко, что я чувствовала это даже сквозь плотную ткань перчаток, и, только когда за нами закрылись тяжёлые двери главного входа, тихо спросила:

— Это правда здесь я... — она не договорила, но я поняла вопрос без слов.

— Это здесь ты проживёшь следующие сорок дней вместе со мной, — сказала я твёрдо, — и ни минутой дольше того, что мне не удастся исправить. Не позволяй этому месту решать за тебя, что чувствовать, прежде чем оно хотя бы попытается тебя напугать всерьёз.

Марта, услышавшая обрывок разговора, посмотрела на Лиану с тем выражением, в котором усталая жёсткость впервые за встречу дала трещину.

— Не сегодня замку вас пугать, барышня, — сказала она неожиданно мягко. — Сегодня вам обоим поест горячего да отогреться с дороги, а страхи и завтра успеют, коли захотят.

Внутри замок оказался холоднее, чем я ожидала даже после разговоров о климате Предела, — тем промозглым, въедливым холодом, который не столько ощущается кожей, сколько проникает в кости, заставляя мышцы сжиматься в постоянном, неосознанном напряжении. Каменные стены, высокие потолки, редкие гобелены, призванные, судя по всему, скорее сохранить тепло, чем украсить помещение, — всё здесь было устроено для выживания, а не для комфорта.

Марта провела нас по длинному коридору на третий этаж, в крыло, отведённое, по её словам, для гостей особого статуса, и остановилась у двух смежных дверей.

— Вот ваши покои, — сказала она, указывая сначала на одну дверь, потом на другую. — Госпоже Лиане — эта, вам, графиня, — соседняя. Печи топим дважды в день, больше дров не выделено — таков обычай, не скупость: больше в этих стенах не удержать тепла, хоть озолоти.

Я вошла в отведённую мне комнату — просторную, с высокой кроватью, тяжёлыми шторами на узких окнах и камином, в котором уже потрескивали занесённые заранее дрова, — и первым делом стянула перчатки, которые не снимала весь последний час дороги от ворот до крыльца, чтобы согреть руки перед камином.

И замерла.

Пальцы не болели.

Не той тупой, привычной болью, которая преследовала меня — сначала в старом теле, потом, необъяснимым образом, и в новом — каждый вечер на протяжении многих лет. Не тем тянущим дискомфортом, который я научилась игнорировать усилием воли, но который никогда полностью не исчезал. Сейчас, в этой промёрзшей комнате, где даже воздух казался острее, чем где бы то ни было в провинции, пальцы ощущались совершенно, абсолютно, необъяснимо здоровыми.

Я согнула их несколько раз, не веря собственным ощущениям, затем сжала кулак — крепко, до побеления костяшек, — и не почувствовала ничего, кроме обычного напряжения мышц здорового человека. Ни намёка на скованность. Ни малейшего отголоска боли, которая мучила меня столько лет, что я перестала мысленно называть её болью, — она стала просто фоном, частью меня самой, такой же неотъемлемой, как усталость к вечеру или седина, которую я красила раз в два месяца.

Здесь, в замке, где, по всем разумным ожиданиям, мне следовало бы мёрзнуть и страдать сильнее, чем где бы то ни было прежде, — впервые за долгие годы у меня ничего не болело.

Раздался стук в дверь, и вошла Марта — проверить, растопили ли камин как следует.

— Марта, — сказала я, всё ещё разглядывая собственные ладони с недоверием человека, обнаружившего необъяснимый факт, — здесь всегда так холодно?

— Всегда, графиня. Пепел — он такой: воздух студит, зато и многое другое студит заодно. — Она посмотрела на меня внимательнее, будто уловив в вопросе нечто большее, чем простое любопытство. — А что, тяжело с непривычки?

— Нет, — сказала я медленно. — Наоборот. У меня уже много лет болят суставы. Артрит. А здесь... — я снова согнула пальцы, — здесь не болит вовсе.

Марта долго молчала, и в этом молчании было что-то, отличное от обычной сдержанности, — что-то похожее на узнавание, смешанное с осторожностью человека, не желающего давать надежду раньше времени.

— Пепел лечит, — сказала она наконец, тщательно подбирая слова. — Не лечит по-настоящему, я имею в виду — не как лекарь рану зашивает, а глушит. Боль, воспаление, всё, что горит внутри тела, — Пепел это гасит, как гасит огонь в очаге, если сырых дров подбросить. Раньше это все знали, кто в Пределе бывал подолгу. Только про суставы я ещё не слышала, чтобы вот так, сразу.

— Значит, это не совпадение.

— В Пределе совпадений не бывает, графиня, — сказала Марта со вздохом человека, давно смирившегося с тем, что мир вокруг него подчиняется законам, которые ему не всегда дано понять до конца. — Здесь всё имеет причину, даже если причину эту не сразу разглядишь.

Она вышла, оставив меня наедине с этим открытием, и я ещё долго сидела у камина, разминая пальцы, которые впервые за долгие годы не требовали разминки, и думала о том, что этот единственный, необъяснимый факт значил для меня больше, чем любая формулировка в договоре, который я так тщательно изучала последнюю неделю.

Тело, в котором я оказалась, принесло с собой мою боль. Но, оказывается, этот мир — вернее, эта его конкретная, пугающая часть — умел эту боль забирать. И если Пепел был способен на такое с чужой, перенесённой болезнью, я не могла не задаться вопросом: на что ещё он был способен, о чём никто из живущих здесь давно перестал задумываться, привыкнув считать чудо просто частью пейзажа?

За ужином, накрытым в малом зале — куда более скромном, чем я ожидала от резиденции человека, которого весь континент называл Владыкой, — Кассиан застал меня за тем же занятием: я снова и снова сгибала пальцы, всё ещё не в силах до конца поверить в отсутствие боли.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.